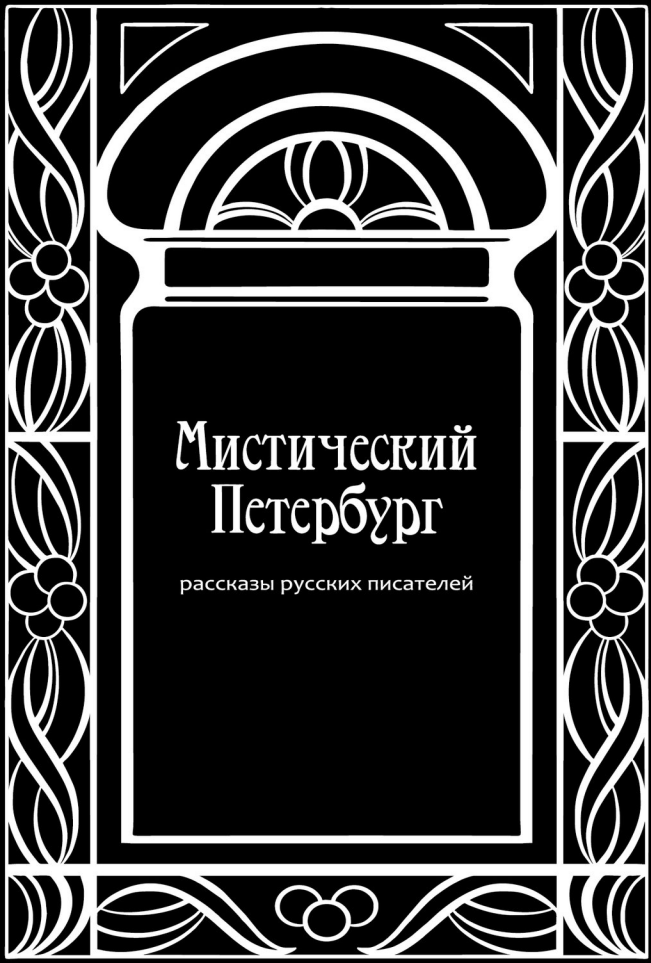

Мистический
Петербург
рассказы русских писателей

Мистический Петербург

В. П. Титов, Михаил Николаевич Загоскин, Николай Александрович Бестужев, Николай Алексеевич Полевой, Федор Кузьмич Сологуб, Александр Степанович Грин, Алексей Николаевич Апухтин, Валериан Николаевич Олин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Андрей Ефимович Зарин, Федор Михайлович Достоевский

Аннотация
Мистический Петербург. Рассказы русских писателей
М. Ю. Лермонтов. Штосс. 1845
I
II
III
В. П. Титов. Уединенный домик на Васильевском. 1829. Повесть
Н. Полевой. Блаженство безумия. 1833
Ф. М. Достоевский. Петербургские сновидения в стихах и в прозе. 1860

Н. Бестужев. Шлиссельбургская станция. 1860.
Истинное происшествие
В. Н. Олин. Странный бал. 1838
М. Н. Загоскин. Концерт бесов. 1834
А. Е. Зарин. Дар сатаны. 1904. Рассказ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ф. К. Сологуб. Дама в узлах. 1912. Легенда белой ночи
А. Н. Апухтин. Между жизнью и смертью. 1892. Фантастический рассказ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

А. Грин. Новый цирк. 1913
I. Должность
II. Представление
III. Конец нового цирка

Аннотация

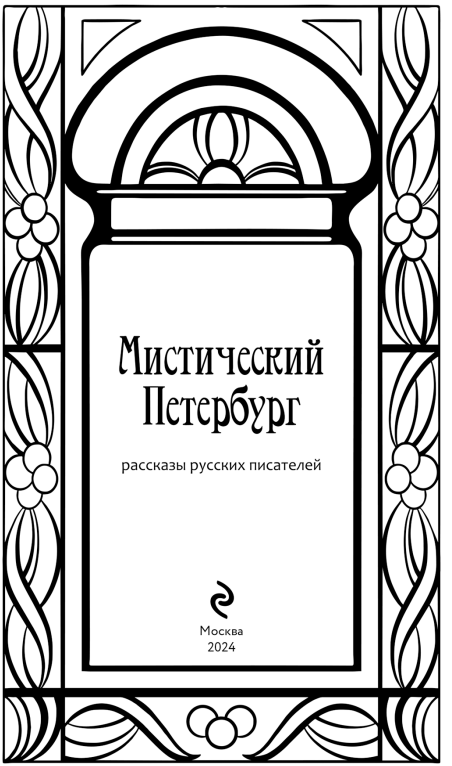
Петербург! Какой таинственной славой овеян этот город! На протяжении сотен лет он пленяет писателей своими туманами и ветрами, дворами-колодцами и гранитными берегами. «Город туманов и снов», место обитания призраков и теней, скрывающихся в арках, город неверных огней и тяжелого, пасмурного неба: странная и вдохновляющая северная столица. В сборник «Мистический Петербург» включены лучшие образцы рассказов о загадочном городе на Неве – от широко известных отечественному читателю до тех, что по сей день оставались полузабытыми. Какие тайны хранит Невский проспект? Где состоится странный бал и каким дурманом навеяны петербургские сновидения в стихах и прозе? Прикоснитесь к загадкам мистического Петербурга и вместе с русскими классиками пройдитесь по его удивительным улицам – страница за страницей.

Дизайн обложки вдохновлен деталями витража магазина купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге.

Мистический Петербург
Рассказы русских писателей

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *



Мистический Петербург

рассказы русских писателей

Москва
2024

М. Ю. Лермонтов
Штосс
1845

I

У графа В… был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты… одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется, по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то, — я устала… скажите что-нибудь! —

и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно, — сказала Минская и снова зевнула, — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин! — отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:

— Вообразите, какое со мной несчастие: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора, — сказала она.

— Доктора не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию; я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; я дурен — и следственно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел по-

догреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно — а правда!..

— Какой вздор! — сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии — и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом

юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли, — сказал он с какою-то важно-

стию, — что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете — что? — адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко — точно торопится… Несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное… не знаю… ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой ма-

стер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что… вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вослед с удивлением.

II

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например… у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он

остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулок и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова,

а подальше…

— Да мне надо Штосса…

— Ну не знаю, — Штосса!! — сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: — Нет, не слыхать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник, — закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был?

— Чей? Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно, Штосса! — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста, — сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в двадцать седьмом номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В двадцать седьмом номере?.. да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь, — нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.

— Ну, а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было… а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей… гм! да

обанкрутился, так у нас и задаток остался…

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? можно! — отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель… посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить… — В эту минуту он заметил на стене

последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, — платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление —

и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец.

— А!

— Как же? коли берете, так пожалуйте задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в девять часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить, — думал Лугин. — Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! Но я взял свои меры: переехал тотчас! Что ж? — ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи…

Надо прибавить, что он выбрал для своей

спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: Середа.

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь…

— Послезавтра середа! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

III

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно

обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было

написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться… он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, — сходство было рази-

тельное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.

— Кто это? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели.

И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо, — подумал Лугин, — если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном:

— А на что же мы будем играть? я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение…) А если хотите, — продолжал он, — я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке.

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

— У меня в банке вот это! — отвечал он, протянув руку.

— Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, — что это?

Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся.

— Мечите! — потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. — Идет, темная.

Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника[1] была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу, — сказал старичок.

— А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин, — так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо, — наконец сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли… и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он,

---

[1] Сноски: 1
сразу. — *Прим. ред.*

стараясь себя утешить, — переупрямил. В середу! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается. А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! а! теперь я понимаю!..»

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он, — верно, что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совер-

шенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.

— Позвольте, — сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! позвольте, — да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо… я с вами буду играть, я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю, — проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? кто? — У Лугина руки опустились: он испугался.

В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновение. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам.

Он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая… она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак… потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что

с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свидания, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; она — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным

взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»… и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

В. П. Титов
Уединенный домик на Васильевском
1829
Повесть

Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, — и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец, строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала,

служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова, — все погребено в седые сугробы, как будто в могилу.

Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике около означенной возвышенности жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из Коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик вместе с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство; но кончина помешала исполнению дальних его замыслов; вдова вскоре нашла себя принужденною продать все, кроме дома, и жить малым денежным достатком, накопленным невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Все ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою. По праздникам в церковь; по будням утро за работою; после обеда мать вяжет

чулок, а молодая Вера читает ей Минею и другие священные книги или занимается с нею гаданием в карты — препровождение времени, которое и ныне в обыкновении у женщин. Вера давно уже достигла того возраста, когда девушки начинают думать, как говорится в просторечии, о том, как бы пристроиться; но главную черту ее нрава составляла младенческая простота сердца; она любила мать, любила по привычке свои вседневные занятия и, довольная настоящим, не питала в душе черных предчувствий насчет будущего. Старушка-мать думала иначе: с грустью помышляла она о преклонных летах своих, с отчаянием смотрела на расцветшую красоту двадцатилетней дочери, которой в бедном одиночестве не было надежды когда-либо найти супруга-покровителя. Все это иногда заставляло ее тосковать и тайно плакать; с другими старухами она, не знаю почему, водилась вовсе не охотно; зато уж и старухи не слишком ее жаловали; они толковали, будто с мужем жила она под конец дурно, утешать ее ходил подозрительный приятель; муж умер скоропостижно и — Бог знает чего не придумает злоречие.

Одиночество, в коем жила Вера с своей матерью, изредка было развлекаемо посещениями

молодого, достаточно отдаленного родственника, который за несколько лет приехал из своей деревни служить в Петербурге. Мы условимся называть его Павлом. Он звал Веру сестрицею, любил ее, как всякий молодой человек любит пригожую, любезную девушку, угождал ее матери, у которой и был, как говорится, на примете. Но о союзе с ним напрасно было думать: он не мог часто навещать семью Васильевского острова. Этому мешали не дела и не служба: он тем и другим занимался довольно небрежно; жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных юношей, которые терпеть не могут излишества в двух вещах: во времени и в деньгах. Он, как водится, искал, и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от сих совершенно лишних отягощений и на его деньги помогали ему издерживать время. Картежная игра, увеселения, ночные прогулки — все призвано было в помощь; и Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видал, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется, не обходилось и без неприятностей: иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе, в виде раскаяния или мрачного пред-

чувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя, он сперва держался обыкновения посещать Веру. Но мог ли он без угрызений сравнить себя с этой невинною, добродетельною девушкой? Итак, необходимо было искать другого средства. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселия, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея, часто наставлял его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу; зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий; главное же, неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тягостнее, — именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их во всяком случае, что Павлу на сей счет приходили иногда в голову странные подозрения; он даже решался выпытать сию тайну от самого Варфоломея; но как скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. Притом: «Что мне за дело, — думал Павел, — какими средствами он добывает деньги? Ведь я за него не пойду на каторгу… ни в ад!» — прибавлял он тихомолком от своей совести. Варфоломей

к тому же имел искусство убеждать и силу нравиться, хотя в невольных его порывах нередко обнаруживалось жестокосердие. Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви; но Павел и сам был не слишком богомолен; притом Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповеданию. Короче, наш юноша наконец совершенно покорился влиянию избранного им друга.

Однажды в день воскресный, после ночи, потерянной в рассеянности, Павел проснулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие давно так его не мучили. Первая мысль его была идти в церковь, где давно, давно он не присутствовал. Но, взглянув на часы, он увидел, что проспал час обедни. Яркое солнце высоко блистало на горячем летнем небосклоне. Он невольно вспомнил о Васильевском острове. «Как виноват я перед старухою, — сказал он себе, — в последний раз я был у ней, когда снег еще не стаял. Как весело теперь в уединенном сельском домике. Милая Вера! Она меня любит, может быть, жалеет, что давно не видала меня, может быть…» Подумал и решился провести день на Васильевском. Лишь только, одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись Варфоломей навстречу. Неприятна была встреча для Павла;

но свернуть было некуда.

— А я к тебе, товарищ! — закричал Варфоломей издали. — Хотел звать тебя, где третьего дня были.

— Мне сегодня некогда, — сухо отвечал Павел.

— Вот хорошо, некогда! Ты, пожалуй, захочешь меня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор! Пойдем.

— Говорю тебе, некогда; я должен быть у одной родственницы, — сказал Павел, выпутывая руку свою из холодной руки Варфоломея.

— Да! Да! Я и забыл об твоей васильевской ведьме. Кстати, я от тебя слышал, что твоя сестрица довольно мила; скажи, пожалуй, сколько лет ей?

— А мне почему знать? Я не крестил ее!

— Я сам никого не крестил отроду, а знаю наперечет и твои лета, и всех, кто со мной запанибрата.

— Тем для тебя лучше, однако…

— Однако не в том дело, — прервал Варфоломей, — я давно хотел туда забраться с твоею помощью. Нынче погода чудная; я рад погулять. Веди меня с собою.

— Ей-ей, не могу, — отвечал Павел с неудовольствием, — они не любят незнакомцев. Прощай, мне нельзя терять времени.

— Послушай, Павел, — сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие. — Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока, а теперь надулся, как индейский петух. Что это значит? Я не в одно место возил тебя из дружбы; потому и от тебя могу того же требовать.

— Так! — отвечал Павел в смущении. — Но теперь не могу исполнить этого, ибо… ибо знаю, что тебе там будет скучно.

— Пустая отговорка; если хочу, стало, не скучно. Веди меня непременно; иначе ты не друг мне.

Павел замялся; наконец, собравшись с духом, сказал:

— Слушай, ты мне друг! Но в этих случаях, я знаю, для тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна, как ангел, но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности?

— Вот нашел присяжного волокиту, — прервал Варфоломей с каким-то адским смехом. — И без нее, брат, много есть девчонок в городе. Да что толковать долго? Честного слова я не дам: ты должен мне верить или со мной рассориться. Веди меня с собою или — давай левую.

Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его, и самое имущество находятся во власти этого человека и ссора с ним есть гибель; сердце его содрогнулось; он употребил еще несколько слабых возражений и согласился.

Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство; степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился; она, по своему обыкновению, видела в нем выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно: она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапною бледностию. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма Божия, с душою, полною смиренными, набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и, как рана, оставался у нее врезанным в душу. Но не любовной силою приковал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное; но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, по-

добно личине, скрывало все ее движения; и на его челе, видимо спокойном, Галль верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных.

Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили неприметно; после обеда предложена прогулка на взморье, по окончании которой все воротились домой и старушка принялась за любимое свое препровождение вечера — гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно, ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего и карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! Да вы, я вижу, мастер; растолкуйте мне, что же они показывают?» — спросила старушка с видом сомнения. «А вот что», — отвечал он и, придвинув кресла, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть, только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала Богу да ей одной известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее,

седые волосы стали дыбиться под чепцом; она, дрожа, перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел; он с прежнею свободою вмешался в разговор молодежи; и беседа, верно, продлилась бы до полночи, если б наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост и им придется ночевать на вольном воздухе.

Не станем описывать много других свиданий, которые друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение сего времени Варфоломей все более и более вкрадывался в доверенность вдовы; добродушная Вера, которая привыкла согласоваться слепо с чувствами своей матери, забывала понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем; но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и если сказать правду, так было за что: частые свидания с молодою родственницей возымели на юношу преблаготворное действие: он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком; с другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и ему изредка казалось, что он может быть счастлив такою супругою, как Вера.

Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея; однако он не только не изъявлял неудовольствия, но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего; Павел, платя ему дружеством искренним, совершенно откинул все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях — что весьма обыкновенно в дружеской беседе на четыре глаза. «Ты знаешь, я не люблю лести, — говорил Варфоломей, — но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену; и не один я, многие говорят, что в последние шесть месяцев ты созрел больше, чем другие созревают в шесть лет. Теперь недостает тебе только одного: навыка жить в свете. Не шути этим словом; я сам никогда не был охотником до света, я знаю, что он нуль; но этот нуль десятерит достоинство единицы. Предвижу твое возражение: ты думаешь жениться на Вере (при сих словах Варфоломей остановился на минуту, как будто забывшись)… ты думаешь на ней жениться, — продолжал он, — и ничего не хочешь знать, кроме счастия се-

мейного да любви будущей супруги. То-то и есть: вы, молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен; ан только начинается. Помяни ты мое слово: поживешь с женою год, опять вспомнишь об людях; но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимы, особливо человеку семейному: у нас без покровителей и правды не добудешь. Может быть, еще тебя стращает громкое имя: большой свет? Успокойся: это манежная лошадь; она очень смирна, но кажется опасною потому, что у нее есть свои привычки, к которым надо примениться. Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И.; ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был, говорили об тебе, и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу».

Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши; никогда не бывалый в большом свете, он решился пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной улице и снаружи не представлял ничего отличного; но внутри — богатое убранство, освещение. Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что

на первый взгляд иное покажется ему странным: ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе за правило не удивляться ничему, да и когда ему было заметить сии мелочи? Его вниманием овладела хозяйка совершенно. Вообразите себе женщину знатную, в пышном цвете юности, одаренную всеми прелестями, какими природа и искусство могут украсить женский пол на пагубу потомков Адамовых, прибавьте, что она потеряла мужа и в обращеньи с мужчинами может позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. При таких искушениях мог ли девственный образ Веры оставаться в сердце переменчивого Павла? Страсти загорелись в нем; он все употребил, чтобы снискать благоволение красавицы, и после повторенных посещений заметил, что она неравнодушна к его стараниям. Какое открытие для пламенного

юноши! Павел не видал земли под собою, он уже мечтал… Но случилась неприятность, которая разрушила все его отважные воздушные замки. Однажды, будучи в довольно многолюдном обществе у графини, он увидел, что она в стороне говорит тихо с одним мужчиною; надобно заметить, что этот молодец щеголял непомерным образом и, несмотря на все старания, не мог, однако, скрыть телесного недостатка, за который Павел с Варфоломеем заочно ему дали прозванье косоногого; любопытство, ревность заставили Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит над его дурным французским выговором, а графиня изволит отвечать на это усмешками. Наш юноша взбесился, хотел тут же броситься и наказать насмешника, но удержался при мысли, что это подвергнет его новому, всеобщему посмеянию. Он тот же час оставил беседу, не говоря ни слова, и поклялся век не видеть графиню.

Растревоженный в душе, он опять вспомнил о давно покинутой им Вере, как грешник среди бездны разврата вспоминает о пути спасения. Но на этот раз он не нашел близ милой девушки желаемой отрады; Варфоломей хозяином господствовал в доме, и того, кто ввел его туда

за несколько месяцев, принимал уже как гостя постороннего. Старуха была больна, и не на шутку. Вера казалась в страшных суетах и развлечении; Павла приняла она с необычайною холодностию и, занимаясь им, сколько необходимо требовало приличие, готовила лекарства, бегала за служанкою, ухаживала за больною и нередко призывала Варфоломея к себе в помощь. Все это, разумеется, было странно и досаждало Павлу, на которого теперь, как на бедного Макара, валилась одна неудача за другою. Он хотел было затеять объяснение, но побоялся растревожить больную старуху и Веру, без того уже расстроенную болезнию матери. Оставалось одно средство — объясниться с Варфоломеем. Приняв такое решение, Павел, извиняясь головною болью, откланялся немного спустя после обеда и, не удержанный никем, уехал, намекнув Варфоломею с некоторою крутостию, что желает его видеть в завтрашнее утро.

Чтобы вообразить себе то состояние, в каком несчастный Павел ожидал на другой день своего бывшего друга и настоящего соперника, должно понять все различные страсти, которые в то время боролись в душе его и, как хищные птицы, словно хотели разорвать между собою свою

жертву. Он поклялся забыть навеки графиню и между тем в сердце пылал любовью к изменнице; привязанность его к Вере была не столь пламенна; но он любил ее любовью братскою, дорожил добрым ее мнением, а в нем почитал себя потерянным надолго, если не навеки. Кто же был виновник всех этих напастей? Коварный Варфоломей, этот человек, которого он некогда называл своим другом и который, по его мнению, так жестоко обманул его доверенность. С каким нетерпением ждал его к себе Павел, с какою досадою он смотрел на улицу, где бушевала точно такая же метель, как и в душе его. «Бездельник, — думал он, — воспользуется непогодою, он избежит моей правдивой мести; он лишит меня последней отрады — сказать ему в бесстыдные глаза, до какой степени я его ненавижу!»

Но в то время как Павел мучился сомнением, отворилась дверь и Варфоломей вошел с таким же мраморным спокойствием, с каким статуя Командора приходит на ужин к Дон-Жуану. Однако лицо его вскоре приняло выражение более человеческое; он приблизился к Павлу и сказал ему с видом сострадательной приязни:

— Ты на себя не похож, друг мой; что причиною твоей горести? Открой мне свое сердце.

— Я тебе не друг! — закричал Павел, отскочив от него в другой угол комнаты, как от лютой змеи; дрожа всеми составами, с глазами, налитыми кровью и слезами, юноша опрометью высказал все чувства души, может быть и несправедливо разгневанной.

Варфоломей выслушал его с каким-то обидным равнодушием и потом сказал:

— Речь твоя дерзка и была бы достойна наказания; но я тебе прощаю; ты молод и цены еще не знаешь ни словам, ни людям. Не так говорил ты со мною, бывало, когда без моей помощи приходилось тебе хоть шею совать в петлю. Но теперь все это забыто, потому что холодный прием девушки раздражил твою самолюбивую душонку. Изволишь пропадать по целым месяцам, творишь неведомо с кем неведомо какие проказы; а я за него терпи и не ходи, куда мне хочется. Нет, сударь; буду ходить к старухе, хоть бы тебе одному назло. Притом у меня есть и другие причины: не стану таить их — знай, Вера влюблена в меня.

— Лжешь, негодяй! — воскликнул Павел в исступлении. — Может ли ангел любить дьявола?

— Тебе простительно не верить, — отвечал Варфоломей с усмешкою, — природа меня не изу-

красила наравне с тобою; зато ты и пленяешь знатных барынь, и пленяешь навеки, постоянно, неизменчиво.

Этой насмешки Павел не мог вынести, тем более что он давно подозревал Варфоломея в содействии к его разладу с графинею. Он в ярости кинулся на соперника, хотел убить его на месте; но в эту минуту он почувствовал себя ударенным под ложку; у него дух занялся, и удар, без всякой боли, на миг привел его в беспамятство. Очнувшись, он нашел себя у противной стены комнаты, дверь была затворена, Варфоломея не было, и, как будто из просонок, он вспоминал последние слова его: «Потише, молодой человек, ты не со своим братом связался».

Павел дрожал от ужаса и гнева; тысячи мыслей быстро сменялись в голове его. То решался он отыскать Варфоломея хоть на краю света и размозжить ему череп; то хотел идти к старухе и обнаружить ей и Вере все прежние проказы изменника; вспоминал об очаровательной графине, хотел то заколоть ее, то объясниться с нею, не изменяя прежнему решению: последнее согласить, конечно, было трудно. Грудь его стеснилась; он как полоумный выбежал на двор, чувствуя в себе признаки воспалительной горячки; блед-

ный, в беспорядке, рыскал он по улицам и, верно, нашел бы развязку всем сомнениям в глубокой Неве, если б она, к счастию, не была закутана в то время ледяною своей шубою.

Утомилась ли судьба преследовать Павла или хотела только сильнее уязвить его минутным роздыхом в несчастиях, он, воротясь домой, был встречен неожиданным исполнением главного своего желания. В прихожей дожидал его богато одетый слуга графини И., который вручил ему записку; Павел с трепетом развертывает и читает следующие слова, начертанные слишком ему знакомою рукою графини.

«Злые люди хотели поссорить нас; я все знаю; если в вас осталась капля любви ко мне, капля сострадания, придите в таком-то часу вечера. Вечно твоя И.».

Как глупы любовники! Павел, пробежав сии магические строки, забыл и дружбу Веры, и неприязнь Варфоломея; весь мир, настоящий, прошедший и грядущий, стеснился для него в лоскутке бумаги; он прижимает к сердцу, целует его, подносит несколько раз к свету. «Нет! — восклицает он в восторге. — Это не обман; я точно, точно счастлив; так не напишет, не может написать никто, кроме нее одной. Но не хочет ли плутов-

ка зазвать и морочить меня и издеваться надо мною по-прежнему? Нет! клянусь, не бывать этому. «Твоя — вечно твоя», пусть растолкует мне на опыте, что значит это слово. Не то… добрая слава ее теперь в моих руках».

В урочный час наш Павел, пригожий и разряженный, уже на широкой лестнице графини; его без доклада провожают в гостиную, где, к его досаде, собралось уже несколько посетителей, между которыми, однако, не было косоногого. Хозяйка приветствует его сухо, едва говорит с ним; но она недаром на него уставила большие черные глаза свои и томно опустила их: мистическая азбука любящих, непонятная профанам. Гости принимаются за игру; хозяйка, отказываясь, уверяет, что ей приятно садиться близ каждого из игроков поочередно, ибо она надеется ему принести счастие. Все не надивятся ее тонкой вежливости. Немного спустя: «Вы у нас давно не были, — говорит графиня, оборачиваясь к юноше, — замечаете ли некоторые перемены в уборах этой комнаты? Вот, например, занавесы висели сперва на лавровых гирляндах; но мне лучше показалось заменить их стрелами». — «Недостает сердец», — отвечает Павел полусухо, полувежливо. «Но не в одной гостиной, — продол-

жает графиня, — есть новые уборы, — и, вставая с кресел, — не хотите ли, — говорит она, — заглянуть в диванную; там развешены привезенные недавно гобелены отличного рисунка». Павел с поклоном идет за ней. Неизъяснимым чувством забилось его сердце, когда он вошел в эту очарованную комнату. Это была вместе зимняя оранжерея и диванная. Миртовые деревья, расставленные вдоль стен, укрощали яркость света канделябров, который, оставляя роскошные диваны в тени за деревьями, тихо разливался на гобеленовые обои, где в лицах являлись, внушая сладострастие, подвиги любви богов баснословных. Против анфилады стояло трюмо, а возле, на стене, похищение Европы — доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину. У этого трюмо начинается роковое объяснение. Всякому просвещенному известно, что разговор любящих всегда есть самая жестокая амплификация: итак, перескажу только сущность его. Графиня уверяла, что насмешки ее над дурным французским выговором относились не к Павлу, а к одному его соименнику, что она долго не могла понять причины его отсутствия, что наконец Варфоломей ее наставил, и проч., и проч. Павел, хотя ему казались странными све-

дения Варфоломея в таком деле, о котором никто ему не сказывал, и роль миротворца, которую он принял на себя в этом случае, поверил, разумеется, всему; однако упорно притворялся, что ничему не верит. «Какого же еще доказательства хотите вы?» — спросила наконец графиня с нежным нетерпением. Павел, как вежливый юноша, в ответ поцеловал жарко ее руку; она упрямилась, робела, спешила к гостям; он становился на колени и, крепко держа руки ее, грозил, что не выпустит, да к этому в прибавок сию же минуту застрелится. Сия тактика имела вожделенный успех — и тихое, дрожащее рукожатие с тихим шепотом: «Завтра, в 11 часов ночи, на заднее крыльцо» — громче пороха и пушек возвестили счастливому Павлу торжество его.

Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между двумя из игроков только что не дошло до драки. «Смотрите, — сказал один графине, запыхавшись от гнева, — я даром проигрываю несколько сот душ, а он…» — «Вы хотите сказать, несколько сот рублей», — прервала она с важностью. «Да, да… я виноват… я ошибся», — отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор, и всю суматоху как рукой сняло. Павел на сей раз пропустил все

мимо ушей. Волнение души не позволило ему долго пробыть в обществе, он спешил домой предаться отдыху, но сон долго не опускался на его вежды; самая действительность была для него сладким сновидением. Распаленной его фантазии бессменно предстояли черные, большие, влажные очи красавицы. Они сопровождали его и во время сна; но сны, от предчувствия ли тайного, от волнения ли крови, всегда кончались чем-то странным. То прогуливался он по зеленой траве; перед ним возвышались два цветка, дивные красками; но лишь только касался он стебля, желая сорвать их, вдруг взвивалась черная, черная змея и обливала цветки ядом. То смотрел он в зеркало прозрачного озера, на дне которого играли две золотые рыбки; но едва опускал он к ним руку, земноводное чудовище, стращая, пробуждало его. То ходил он ночью под благоуханным летним небосклоном, и на высоте сияли неразлучно две яркие звездочки; но не успевал он налюбоваться ими, как зарождалось черное пятно на темном западе и, растянувшись в длинного облачного змея, пожирало звездочки. Всякий раз, когда такое видение прерывало сон Павла, встревоженная мысль его невольно устремлялась на Варфоломея; но чрез несколько времени черные глаза

снова одерживали верх, покуда новый ужас не прерывал мечты пленительной. Несмотря на все это, Павел, проспавши до полудня, встал веселее, чем когда-нибудь. Остальные 11 часов дня, как водится, показались ему вечностию. Не успело смеркнуться, как он уже бродил вокруг дома графини; не принимали никого, не зажигали огня в парадных комнатах, только в одном дальнем углу слабо мерцал свет: «Там ждет меня прелестная», — думал про себя Павел — и заранее душа его утопала в наслаждении.

Протяжно пробило одиннадцать часов на Думской башне, и Павел, любовью окриленный… Но здесь я прерву картину свою и в подражание лучшим классическим и романтическим писателям древнего, среднего и новейшего времени предоставлю вам дополнить ее собственным запасом воображения. Коротко и ясно: Павел думал уже вкусить блаженство… как вдруг постучались тихонько у двери кабинета; графиня в смущении отворяет; доверенная горничная входит с докладом, что на заднее крыльцо пришел человек, которому крайняя нужда видеть молодого господина. Павел сердится, велит сказать, что некогда, колеблется, выходит в прихожую, ему говорят, что незнакомый ушел сию минуту. Он возвра-

щается к любезной. «Ничто с тобой не разлучит меня», — говорит он страстно. Но вот стучатся снова, и горничная входит с повторением прежнего. «Пошлите к черту незнакомца, — кричит Павел, топнув ногою, — или я убью его». Выходит, слышит, что и тот вышел; сбегает по лестнице на двор, — но там ничто не колыхнется, и лишь только снег безмолвно валит хлопьями на землю. Павел бранит слуг, запрещает пускать кого бы то ни было, возвращается пламеннее прежнего к встревоженной графине; но прошло несколько минут, и стучатся в третий раз, еще сильнее, продолжительнее. «Нет, полно! — закричал он вне себя от ярости. — Я доберусь, что тут за привидение; это какая-нибудь штука». Вбегая в прихожую, он видит край плаща, который едва успел скрыться за затворяемою дверью; опрометью накидывает он шинель, хватает трость, бежит на двор и слышит стук калитки, которая лишь только захлопнулась за кем-то. «Стой, стой, кто ты таков?» — кричит вслед ему Павел и, выскочив на улицу, издали видит высокого мужчину, который как будто останавливается, чтоб поманить ему рукою, и скрывается в боковой переулок. Нетерпеливый Павел за ним следует, кажется, нагоняет его; тот снова оста-

навливается у боковой улицы, манит и исчезает. Таким образом юноша следит за незнакомцем из улицы в улицу, из закоулка в закоулок и наконец находит себя по колена в сугробе между низенькими домами, на распутии, которого никогда отроду не видывал; а незнакомец пропал безо всякого следа. Павел остолбенел, и, признаюсь, никому бы не завидно, пробежав несколько верст, очнуться в снегу в глухую полночь у черта на куличках. Что делать? идти? — заплутаешься; стучаться у ближних ворот? — не добудишься. К неожиданной радости Павла, проезжают сани. «Ванька! — кричит он. — Вези меня домой в такую-то улицу». Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрыпит снег под санями, луна во вкусе Жуковского неверно светит путникам сквозь облака летучие. Но едут долго, долго, все нет места знакомого; и наконец вовсе выезжают из города. Павлу пришли, естественно, на мысль все старые рассказы о мертвых телах, находимых на Волковом поле, об извозчиках, которые там режут седоков своих, и т. п. «Куда ты везешь меня?» — спросил он твердым голосом; не было ответа. Тут при свете луны он захотел всмотреться в жестяной билет извозчика и, к удивлению, заметил, что на этом билете не было означено

ни части, ни квартала; но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666, число Апокалипсиса, как он позднее вспомнил.

Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего размаху ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: «Потише, молодой человек; ты не с своим братом связался». Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение креста, от которого давно руки его отвыкли. Тут санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся страшный вихрь; экипаж, лошадь, ямщик — все сравнялось с снегом, и Павел остался один-одинехонек за городскою заставою, еле живой от страха.

На другой день юноша лежал изнеможенный на кровати в своей комнате. Подле него стоял добрый престарелый дядька и, одной рукою держа вялую руку господина, часто отворачивался, чтобы стереть другою слезу, украдкой навернувшуюся на подслепую зеницу его. «Барин,

барин, — говорил он, — недаром докладывал я вашей милости, что не бывать добра от ночной гульбы. Где вы пропадали? Что это с вами сделалось?» Павел не слыхал его: он то дикими глазами глядел по нескольку времени в угол, то впадал в дремоту, впросонках дрожал и смеялся, то вскакивал с постели как сумасшедший, звал имена женские, потом опять бросался лицом на подушки. «Бедный Павел Иванович! — думал про себя дядька. — Господь его помилуй, он, верно, ума лишился» — и в порыве добросердечия, улучив первую удобную минуту, побежал за врачом. Врач покачал головою, увидя больного, не узнававшего окружающих, и ощупав лихорадочный пульс его. Наружные признаки противоречили один другому, и по ним ничего нельзя было заключить о болезни: все подавало повод думать, что ее причина крылась в душе, а не в теле. Больной почти ничего не вспоминал о прошедшем; душа его, казалось, была замучена каким-то ужасным предчувствием. Врач, убежденный верным дядькою, с ним вместе не отходил целый день от одра юноши; к вечеру состояние больного сделалось отчаянно; он метался, плакал, ломал себе руки, говорил о Вере, о Васильевском острове, звал на помощь, к кому и кого, Бог весть, хватал

шапку, рвался в дверь, и соединенные усилия врача и слуги едва смогли удержать его. Сей ужасный кризис продолжался за полночь; вдруг больной успокоился — ему стало легче; но силы душевные и телесные совершенно были убиты борьбою; он погрузился в мертвый сон, после коего прежний кризис возобновился.

Припадок одержал юношу полные трое суток с переменчивою силою; на третье утро, начиная чувствовать в себе более крепости, он вставал с постели, когда ему сказали, что в прихожей дожидается старая служанка вдовы. Сердце не предвещало ему доброго; он вышел; старушка плакала навзрыд. «Так! Еще несчастие! — сказал Павел, подходя к ней. — Не мучь меня, голубушка; все скорее выскажи». — «Барыня приказала долго жить, — отвечала старушка, — а барышне Бог весть, долго ли жить осталось». — «Как? Вера? Что?» — «Не теряйте слов, молодой барин: барышне нужна помощь. Я прибрела пешком; коли у вас доброе сердце, едемте к ней сию минуту; она в доме священника церкви Андрея Первозванного». — «В доме священника? Зачем?» — «Бога ради, одевайтесь, все после узнаете». Павел окутался, и поскакали на Васильевский.

Когда он в последний раз видел Веру и мать

ее, вдова уже давно страдала болезнию, которая при ее преклонных летах оставляла немного надежды на исцеление. Слишком бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно советами Варфоломея, который кроме других сведений хвалился некоторым знакомством с медициною. Деятельность его была неутомима: он успевал утешать Веру, ходить за больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые приносил иногда с такою скоростию, что Вера дивилась, где он мог найти такую близкую аптеку. Лекарства, доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей веселости. И странно, что чем ближе подходила она к гробу, тем неотлучнее пребывали ее мысли прикованы к житейскому. Она спала и видела о своем выздоровлении; а там — как ее дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучно, боялась, не будет ли этот домик тесен для будущей семьи, удастся ли найти другой поближе к городу, и проч., и проч. Мутная невыразительность кончины была в ее глазах, когда она, подозвав будущих молодых к своей постели, с какою-то нелепою улыбкою говорила: «Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим; я боюсь ослепнуть, и тогда уже

не удастся мне смотреть на ваше счастие». Между тем рука смерти все более и более тяготела над старухою: зрение и память час от часу тупели. В Варфоломее незаметно было горести; может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня помогали ему рассеяться. Веру же тревожили размышления об матери, как и о самой себе. Какой невесте не бывает страшно перед браком? Однако она всячески старалась успокоить себя. «Я согрешила перед Богом, — думала девица, — не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за злого человека. Но он гораздо лучше Павла; посмотрите, как он старается о матушке: сам себя, бедный, не жалеет — стало, он не злой человек». Вдруг мысли ее туманились. «Он крутого нрава, — говорила она себе, — когда чего не хочет и скажешь ему: Варфоломей, Бога ради это сделайте, — он задрожит и побледнеет. Но, — продолжала Вера, мизинцем стирая со щеки слезинку, — ведь я сама не ангел; у всякого свой крест и свои пороки: я буду исправлять его, а он меня». Тут приходили ей на ум новые сомнения: «Он, кажется, богат; честными ли он средствами добыл себе деньги? Но это я выспрошу; ведь он меня любит». Так утешала себя добрая, невинная Вера; а старухе между тем все хуже да хуже. Вера

сообщила свой страх Варфоломею, спрашивала даже, не нужно ли призвать духовника; но он горячился и сурово отвечал: «Хотите ускорить кончину матушки? Это лучший способ. Болезнь ее опасна, но еще не отчаянна. Что ее поддерживает? Надежда исцелиться. А призовем попа, так отнимем последнюю надежду». Робкая Вера соглашалась, побеждая тайный голос души; но в этот день — и заметьте, это было на другой день рокового свидания Павла с прелестною графинею — опасность слишком ясно поразила вещее сердце дочери. Отозвав Варфоломея, она ему сказала решительным голосом: «Царем Небесным заклинаю вас, не оставьте матушку умереть без покаяния: Бог знает, проживет ли она до завтра», — и упала на стул, заливаясь слезами. Что происходило тогда в Варфоломее? Глаза его катались, на лбу проступал пот, он силился что-то сказать и не мог выговорить. «Девичье малодушие, — пробормотал он напоследок. — Ты ничему не веришь… Вы, сударыня, не верите моему знанию медицины… Постойте… у меня есть знакомый врач, который больше меня знает… жаль, далеко живет он». Тут он схватил руку девицы и, подведя ее стремительно к окну, показал на небо, не поднимая глаз своих: «Смотрите; там еще

не явится первая звезда, как я буду назад, и тогда решимся; обещаете ли только не звать духовника до моего прихода?» — «Обещаю, обещаю». Тогда послышался протяжный вздох из спальней. «Спешите, — закричала Вера, бросясь к дверям ее, потом оборотилась, взглянула еще раз с умилением грусти неописанной на вкопанного и, махнув ему рукою, повторила: — Спешите, ради меня, ради Бога». Варфоломей скрылся.

Мало-помалу зимний небосклон окутывался тучами, а в больной жизнь и тление выступали впоследние на смертный поединок. Снег начинал падать; порывы летучего ветра заставляли трещать оконницы. При малейшем хрусте снега Вера подбегала к окну смотреть, не Варфоломей ли возвращается; но лишь кошка мяукала, галки клевались на воротах и калитку ветер отворял и захлопывал. Ночь с своей черной пеленою приспела преждевременно; Варфоломея нет как нет, и на своде небесном не блещет ни одной звезды. Вера решилась послать по духовника старую служанку; долго не возвращалась она, и немудрено, потому что не было ни одной церкви ближе Андрея Первозванного. Но хлопнула калитка, и вместо кухарки явился Варфоломей, бледный и расстроенный. «Что? надежды

нет?» — прошептала Вера. «Мало, — сказал он глухим голосом, — я был у врача; далеко живет он, много знает...» — «Да что же говорит он, Бога ради?» — «Что до того нужды?.. За попом теперь посылать время. А! вижу; вы послали уже... туда и дорога!» — сказал он с какой-то сухостью, в которой обнаруживалось отчаяние.

Чрез несколько времени, уже в глухую ночь, старая служанка прибрела с вестью, что священника нет дома, но, когда воротится, ему скажут, и он тотчас придет к умирающей. Об этом решились предварить ее. «С умом ли вы, дети, — сказала она слабо, — неужто я так хвора? Вера! Что ты хныкаешь? Вынеси лампаду; сон меня поправит». Дочь лобызала руку матери, а Варфоломей во все время безмолвствовал поодаль, уставив на больную глаза, которые, когда лампада роняла на них свое мерцание, светились как уголья.

Вера с кухаркою стояли на коленах и молились. Варфоломей, ломая себе руки, беспрестанно выходил в сени, жалуясь на жар в голове. Чрез полчаса он вошел в спальню и как сумасшедший выбежал оттуда с вестью: «Все кончено!» Не стану описывать, что в сию минуту почувствовала Вера! Однако сила ее духа была необычайная. «Боже! Это воля Твоя!» — произнесла она, подни-

мая руки к Небу; хотела идти; но телесные силы изменили, она полумертвая опустилась на кресла, и не стало бы несчастной, если б внезапный поток слез не облегчил ее стесненной груди. Между тем старуха, воя, обмыла труп, поставила свечу у изголовья и пошла за иконою; но тут же от усталости ли, от иной ли причины забылась сном неодолимым. В эту минуту Варфоломей подошел к Вере. У самого беса растаяло бы сердце: так она была прелестна в своей горести. «Ты меня не любишь, — воскликнул он страстно, — я с твоею матерью потерял единственную опору в твоем сердце». Девицу испугало его отчаяние. «Нет, я тебя люблю», — отвечала она боязливо. Он упал к ногам ее. «Клянись, — говорил он, — клянись, что ты моя, что любишь меня более души своей». Вера никогда не ожидала б такой страсти в этом холодном человеке. «Варфоломей, Варфоломей, — сказала она с робкою нежностию, — забудь грешные мысли в этот страшный час; я поклянусь, когда схороним матушку, когда священник в храме Божием нас благословит…». Варфоломей не выслушал ее и как исступленный ну молоть околесную: уверял, что это все пустые обряды, что любящим не нужно их, звал ее с собою в какое-то дальнее отечество, обещал там

осыпать блеском княжеским, обнимал ее колена со слезами. Он говорил с такою страстью, с таким жаром, что все чудеса, о которых рассказывал, в ту минуту казались вероятными. Вера уже чувствовала твердость свою скудеющей, опасность пробудила ее силу душевную; она вырвалась и побежала к дверям спальней, где думала найти служанку; Варфоломей заступил ей дорогу и сказал уже с притворною холодностью, с глазами свирепыми: «Послушай, Вера, не упрямься; тебе не добудиться ни служанки, ни матери: никакая сила не защитит тебя от моей власти». — «Бог защитник невинных», — закричала бедняжка, в отчаянии бросясь на колени пред Распятием. Варфоломей остолбенел, его лицо изобразило бессильную злобу. «Если так, — возразил он, кусая себе губы, — если так… мне, разумеется, с тобою делать нечего; но я заставлю твою мать сделать тебя послушною». — «Разве она в твоей власти?» — спросила девица. «Посмотри», — отвечал он, уставивши глаза на полурастворенную дверь спальней, и Вере привиделось, будто две струи огня текут из его глаз и будто покойница при мерцании свечи нагоревшей приподнимает голову с мукою неописанной и иссохшею рукою машет ей к Варфоломею. Тут Вера увидела, с кем

имеет дело. «Да воскреснет Бог! И ты исчезни, окаянный», — вскрикнула она, собрав всю силу духа, — и упала без памяти.

В этот миг словно пушечный выстрел пробудил спящую служанку. Она очнулась и в страхе увидела двери отворенными настежь, комнату в дыму и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам, которые покойница получила в подарок от Варфоломея. Первое ее движение было схватить кувшин воды, в углу стоявший, и выплеснуть на поломя; но огонь заклокотал с удвоенною яростию и опалил седые волосы кухарки. Тут она без памяти вбежала в другую комнату с криком: «Пожар, пожар!» Увидя свою барышню на полу без чувства, схватила ее в охапку и, вероятно, получив от страха подкрепление своим дряхлым силам, вытащила ее на мост за ворота. Близкого жилья не было, помощи искать негде; пока она оттирала снегом виски полумертвой, пламя показалось из окон, из труб и над крышею. На зарево прискакала команда полицейская с ведрами, ухватами: ибо заливные трубы еще не были тогда в общем употреблении. Сбежалась толпа зрителей, и в числе их благочинный церкви Андрея Первозванного, который шел с дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных

ладах с покойницей и считал ее за дурную женщину; но он любил Веру, о которой слыхал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастию, обещал деньги пожарным служителям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал все действие воды, все усилия человеческие; один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп; но пробыл минуту и выбежал в ужасе; он рассказывал, будто успел уже добраться до спальней и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась и он только особенною милостию Николы Чудотворца уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же поставить полтинную перед его образом. Между собою зрители толковали, что он трус и упавшее бревно показалось ему бесом; но капрал остался тверд в своем убеждении и до конца жизни проповедовал в шинках, что на своем веку лицезрел во плоти нечистого со хвостом, рогами и большим горбатым носом, которым он раздувал поломя, как мехами в кузнице. «Нет, братцы, не приведи вас Бог увидеть окаянного».

Сим красноречивым обетом наш гений всегда заключал повесть свою, и хозяин, в награду его смелости и глубокого впечатления, произведенного рассказом на просвещенных слушателей, даром подносил ему полную стопу чистейшего пенника.

Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилиям в сем случае потомство должно, впрочем, отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сгорел до основания, и место, где стоял он, не знаю почему, до сих пор остается незастроенным. Престарелая служанка, при пособии благочинного с причетом приходским, воскресив Веру из обморока, нашла с нею убежище в доме сего достойного пастыря. Пожар случился столь нечаянно и все обстоятельства оного были так странны, что полиция нашла нужным о причинах его учинить подробное исследование. Но как подозрение не могло падать на старую служанку, а еще менее на Веру, то зажигателем, ясно, оказался Варфоломей. Описали его приметы, искали его явным и тайным образом не только во всех кварталах, но и во всем уезде Петербургском; но все было напрасно: не нашли и следов его, что было тем более удивительно, что зимою нет

судоходства и, следственно, ему никакой не было возможности тихонько отплыть на иностранном корабле в чужие краи. Неизвестно, до чего могло бы довести долгое исследование; но благочинный, любя Веру душевно и не зная, до какой глубины могли простираться ее связи с этим человеком, благоразумно употребил свое влияние, дабы потушить дело и не дать ему большей гласности.

Таким образом, Павел, за которым послали на третий день, узнав от старухи дорогою, что было ей известно из цепи несчастных приключений, нашел юную свою родственницу больную в жилище отца Иоанна. Гостеприимное семейство пригласило его остаться там до ее выздоровления. Ветреный молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести таинственной графини, и бурные веселия юности, сопряженные с такими пагубными последствиями.

Одно его моление к Небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась и он мог служить для ней

образцом верного супруга. В минуты уединенного свидания он решался предлагать ей сии мысли; но она, впрочем оказывая ему сестрину доверчивость, с неизменною твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел, — говорила она, — а я отцвела мой век; скоро примет меня могила, и там Бог милосердый, может быть, пошлет мне прощение и спокойствие». Эта мысль ни на час не оставляла Веру; притом ее, кажется, мучило тайное убеждение, что она своею слабостью допустила злодея совершить погибель матери в сей, а может быть — кто знает? — и в будущей жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее — небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную. Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, когда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне природы восприемлющей.

Надобно догадываться, что Вера пред кончиною кроме духовного отца поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал

печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней вотчине. Там во всем околотке слыл он чудаком и в самом деле показывал признаки помешательства. Не только соседи, но самые крестьяне и слуги после его приезда ни разу не видали его. Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью. Женщин не мог он видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство. Однажды, шагая по своему обыкновению по комнате, он подошел к двери в то самое время, как Лаврентий отворил ее неожиданно, чтоб доложить ему о чем-то. Павел задрожал. «Ты — не я уморил ее», — сказал он отрывисто и через неделю просил прощения у старого дядьки, ибо вытолкнул его так неосторожно, что тот едва не проломил себе затылок о простенок. «После этого, — говорил Лаврентий, — я всегда прежде постучусь, а потом уже войду с докладом к его милости».

Павел умер, далеко не дожив до старости. По-

весть его и Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, чрез которых дошла и до меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?

Н. Полевой
Блаженство безумия
1833

On dit, quo Ja folie est un mal;
on a tort – e'est un bien…

Говорят, что безумие есть зло, –
ошибаются: оно благо!

Мы читали Гофманову повесть «Meister Floh»[2]. Различные впечатления быстро изменялись в каждом из нас, по мере того как Гофман, это дикое дитя фантазии, этот поэт-безумец, сам боявшийся привидений, им изобретенных, водил нас из страны чудесного в самый обыкновенный мир, из мира волшебства в немецкий погребок, шутил, смеялся над нашими ожиданиями, обманывал нас беспрерывно и наконец — скрылся, как мечта, изглаженная крепким утренним сном! Чтение было кончено. Начались разговоры и суждения. Иногда это последствие чтения быва-

---

[2] Сноски: 2
Повелитель блох (*нем.*).

ет любопытнее того, что прочитано. В дружеской беседе нашей всякий изъявлял свое мнение свободно; противоречия были самые странные, и всего страннее показалось мне, что женщины хвалили прозаические места более, а мужчины были в восторге от самых фантастических сцен. Места поэтические пролетели мимо тех и других, большею частию не замеченные ими.

Один из наших собеседников молчал.

— Вы еще ничего не сказали, Леонид? — спросила его молодая девушка, которая не могла налюбоваться дочерью переплетчика, изображенною Гофманом.

— Что же прикажете мне говорить?

— Как что? Скажите, понравилась ли вам повесть Гофмана?

— Я не понимаю слова «понравиться», — отвечал Леонид — и глаза его обратились к другой собеседнице нашей, — не понимаю, когда говорят это слово о Гофмане или о девушке…

Та, на которую обратился взор Леонида, потупила глаза, и щеки ее покраснели.

— Чего же вы тут не понимаете?

— Того, — отвечал Леонид, — что ни Гофман, ни та, которую сердце отличает от других, нравиться не могут.

— Как? Гофман и девушка, которую вы любите, вам не могут нравиться?

— Жалею, что не успел хорошо высказать моей мысли. Дело в том, что слово «нравиться» я позволил бы себе употребить, говоря только о щегольской шляпке, о собачке, модном фраке и тому подобном.

— Прекрасно! Так лучше желать быть собачкою, нежели тою девушкою, которую вам вздумается любить?..

— Не беспокойтесь. Но Гофман вовсе мне не нравится, как не нравится мне буря с перекатным громом и ослепительною молниею: я изумлен, поражен; безмолвие души выражает все мое существование в самую минуту грозы, а после я сам себе не могу дать отчета: я не существовал в это время для мира! И как же вы хотите, чтобы холодным языком ума и слова пересказал я вам свои чувства? Зажгите слова мои огнем, и тогда я выжгу в душе другого чувства мои такими буквами, что он поймет их…

— Не пишет ли он стихов? — сказала девушка, которая спрашивала, молчаливой своей подруге. — Верно, это какое-нибудь поэтическое сравнение или выражение, и я ничего в нем не понимаю…

— Ах! как я его понимаю! — промолвила другая тихонько, сложив руки и поднимая к небу голубые глаза свои.

Я стоял за ее стулом и слышал этот голос сердца, невольно вылетевший. Боясь, чтобы она не заметила моего нечаянного дозора, я поспешил начать разговор с Леонидом.

— Прекрасно, — сказал я, — прекрасно, любезный Леонид! Только, в самом деле, непонятно.

— Как же вы говорите «прекрасно», если вы не понимаете?

Этот вопрос смешал меня. Я не знал, что отвечать на возражение Леонидово.

— То есть, я говорю, — сказал я ему наконец, — что трудно было бы изъяснить положительно, если бы мы захотели отдать полный отчет в ваших словах.

— Бедные люди! Им и чувствовать не позволяют того, чего изъяснить они не могут! — Леонид вздохнул.

— Но как же иначе? — сказал я. — Безотчетное чувство есть низшее чувство, и ум требует отчета верного, положительного…

— Мне всегда забавно слышать подобные слова: сколько в них шуму, грому, и между тем, как мало отчетливости во всех ваших отчетах! Скажите,

пожалуйста: во многом ли до сих пор успели вы достигнуть вашей отчетливой положительности? Не вправе ли мы и теперь еще, после всех ваших философских теорий и систем, повторить:

Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось вашим мудрецам!

Что такое успели мы разгадать нашим умом и выразить нашим языком? Величайшая горесть, величайшая радость — обе безмолвны; любовь также молчит — не смеет, не должна говорить (он взглянул украдкою на молчаливую нашу собеседницу). Вот три высокие состояния души человеческой, и при всех трех уму и языку дается полная отставка! Все это человек может еще, однако ж, понимать; но что, если мы осмелимся коснуться тех скрытых тайн души человеческой, которые только ощущаем, о существовании которых только догадываемся?..

Леонид засмеялся и вдруг обратился к веселой нашей собеседнице:

— Вам скучно слушать мои странные объяснения. Извините: вы сами начали.

— Я искренно признаюсь вам, что не понимаю, о чем вы говорите. Мне просто хотелось узнать ваше мнение о гофмановской сказке…

— Сказка эта похожа на быль, — отвечал Леонид. — Помилуйте? Как это можно?

— Говорю не шутя. Сначала мне показалось даже, будто я слышу рассказ о том, что случилось с одним из моих лучших друзей.

— Возможно ли?

— Окончание у Гофмана, однако ж, совсем не то. Бедный друг мой не улетел в волшебное царство духов: он остался на земле и дорого заплатил за мгновенные прихоти своего бешеного воображения…

— Расскажите нам!

— Это возбудит горестные воспоминания моей жизни; притом же я боюсь: я такой плохой рассказчик… Сверх того, в приключениях друга моего я ничего не могу изъяснить положительно!.. — Леонид засмеялся и пожал мне руку.

— Злой насмешник! — сказал я.

— Вы, однако ж, расскажете нам? — повторила веселая наша собеседница.

— Если вам угодно…

Взор Леонида выразил, однако ж, что совсем не в ее угоду хотел он рассказывать.

— Ах! как весело! — сказала вполголоса молчаливая ее подруга, так что Леонид мог слышать, — Он станет рассказывать!

— Ты любишь слушать рассказы Леонида? — лукаво спросила ее подруга.

— Да… потому, что они всегда такие странные… — Она смешалась и опять замолчала.

Несколько молодых людей придвинули к нам свои кресла. Мы составили отдельный кружок. Другие из гостей были уже заняты в это время картами и разговорами о погоде и еще о чем-то весьма важном, кажется, об осаде Антверпена.

Леонид начал:

— Вы позволите мне скрыть имена и предварительно объявить, что я ни слова не прибавлю и не убавлю к истине.

— В Петербурге, несколько лет тому, когда я служил по министерству… знал я одного молодого чиновника. Он был товарищ мне по департаменту и старше меня летами. Назовем его Антиохом. В начале нашего знакомства показался он мне угрюм, холоден и молчалив. В веселых беседах наших он обыкновенно говаривал мало. Сказывали также, что он большой скупец. В самом деле, всем известно было, что у него огромное состояние, но он жил весьма тихо и скромно, никого не приглашал к себе, редко участвовал в забавах своих приятелей и только раз в год сзывал к себе товарищей и знакомых, в день именин своих. То-

гда угощение являлось богатое. В другое же время редко можно было застать его дома. Говорили, что он нарочно не сказывается, хотя кроме должности почти никуда не ходит и сидит запершись в своем кабинете. Должность была у него легкая, за бумагами сидеть ему было не надобно, и никто не знал, каким образом Антиох проводит время. Впрочем, он был чрезвычайно вежлив и ласков, охотно ссужал деньгами и был принят в лучших обществах. Прибавлю, что он был собою довольно хорош, только не всякому мог понравиться. Лицо его, благородное и выразительное, совсем не было красиво; большие голубые глаза его не были оживлены никаким чувством. Стройный и высокий, он вовсе не заботился о приятности движений. Часто, сложив руки, опустив глаза в землю, сидел он и не отвечал на вопросы самых милых девушек и улыбался притом так странно, что можно было почесть эту улыбку за насмешку. Бог знает с чего, Антиоха называли ученым — название, не придающее любезности в глазах женщин: говорю, что слыхал, и готов допустить исключения из этого правила. Такое название придали Антиоху, может быть, потому, что он хорошо знал латинский язык и был постоянным посетителем лекций Велланского.

Впрочем, Антиох показывал во всем отличное, хотя и странное, образование. Он превосходно знал французский, италиянский и особливо немецкий язык; изрядно танцевал, но не любил танцевать; страстно любил музыку, но не играл, не пел и всему предпочитал Бетховена. Иногда начинал он говорить, говорил с жаром, увлекательно, но вдруг прерывал речь и упорно молчал целый вечер. Знали, что он много путешествовал, но никогда не говорил он о своих путешествиях…

Извините, что я изображаю вам моего героя. Этот старинный манер романов необходим, и вы поймете после сего, почему называли Антиоха странным человеком. Вообще Антиоха все уважали, но любили его немногие. Долго старались разгадать странности Антиоховы. Одни сказывали, будто он был когда-то влюблен, и влюблен несчастно. Это могло сделать его интересным для женщин, но холодность Антиоха отталкивала всякого, кто хотел с ним сблизиться. Другим казалось непростительным, что при большом богатстве своем он, совершенно независимый и свободный, не живет открыто и не находится в блестящем обществе, не ищет ни чинов, ни связей, сидит дома, ходит на ученые лек-

ции. «Он слишком умничает — он странный человек — он чудак — впрочем, он деловой человек — он скуп, а это отвратительно!»

Так судили об Антиохе. Странность труднее извинять, нежели шалость. Другим прощали бесцветность, ничтожность характера, мелкость души, отсутствие сердца: Антиоху не прощали того, что он отличался от других резкими чертами характера.

Признаюсь, я не мог не уважать Антиоха за то, что он не походил на других наших товарищей. Кто знает молодых петербургских служивых людей, тот согласится с моим замечанием. Мало удавалось мне слыхать оживленный разговор Антиоха; но что слыхал я, то изумляло меня чем-то необыкновенным — какою-то странною оригинальностью. Вскоре мы познакомились с ним короче.

Это было летним вечером. Помню этот вечер — один из прекраснейших вечеров в моей жизни! Я вырвался тогда из душного Петербурга, уехал в Ораниенбаум, дал себе свободу бродить без плана, без цели. Солнце катилось к западу, когда я очутился на даче Чичагова. Местоположение прелестное, дикое, уединенное, солнце, утопающее в волнах Финского залива, море, зажженное

его лучами, небо ясное, безоблачное — все это расположило меня к какому-то забвению самого себя. Я был весь мечта, весь дума — как говорят наши поэты, и не заметил, как приблизился ко мне Антиох.

«Леонид! — сказал он мне, — дай руку! Отныне ты видишь во мне доброго своего друга!»

Я невольно содрогнулся от яркого взора, какой Антиох устремил на меня, и от нечаянного появления этого странного человека. В замешательстве, молча, пожал я ему руку.

Никогда не видывал я Антиоха в таком, как теперь, состоянии. Если бы надобно было изобразить мне состояние его одним словом, то я сказал бы, что Антиох казался мне вдохновенным. Я видел не прежнего холодного Антиоха, с насмешливою улыбкою, с каким-то презрением смотревшего на всех, запеленанного в формы и приличия. В глазах его горел огонь, румянец оживлял его всегда бледные щеки.

«Леонид, — сказал он мне, — ради бога, прочь все формы! Будь при мне тем, чем видел я тебя за несколько минут, или я уйду и оставлю тебя!»

«Вы меня удивляете, Антиох!»

«Несносные люди! Их никогда не застанешь врасплох; они тотчас спешат надеть фрак свой

и подать вам визитную карточку… Извините, что я перервал вашу уединенную прогулку», — сказал Антиох с досадою и хотел идти прочь. Я остановил его. Голос Антиоха дошел до моего сердца.

«Антиох! Я тебя не понимаю».

«А мне казалось, что за несколько минут я понимал тебя, понимал юное сердце человека, который убежал из толпы людей отдохнуть здесь, один на просторе, побеседовать с матерью-природою; понимал взор твой, устремленный на этот символ души человеческой — море бесконечное, бездонное, с бурями и пропастями…»

«Леонид!» — «Антиох!» — воскликнули мы и крепко обняли друг друга. Взявшись рука в руку, до глубокой ночи бродили мы вместе.

Не могу пересказать вам всего, что было переговорено нами в это время.

Антиох раскрыл мне свою душу — я высказал ему мою. Но что мог я тогда высказать ему? — продолжал Леонид с жаром, потупив глаза. — Несколько бледных воспоминаний детства, несколько неопределенных чувств при взгляде на природу, несколько затверженных мною идей, несколько мечтаний о будущем, может быть… Но я не о себе, а об Антиохе хочу говорить вам.

Антиох открыл мне новый мир, фантасти-

ческий, прекрасный, великолепный — мир, в котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением, похожим на то неизъяснимо-сладостное чувство, которое ощущаем мы, купаясь в море или смотря с высокой, заоблачной горы на низменное пространство, развивающееся под ногами нашими. Душа Антиоха была для меня этим новым, волшебным миром: она населила для меня всю природу чудными созданиями мечты; от ее прикосновения, казалось мне, и моя душа засверкала электрическими искрами. Как легко понял я тогда и насмешливую улыбку Антиоха при взгляде на известные обоим нам светские общества, и презрение, какое невольно изъявлял он при взгляде на наших товарищей!

Только равная Антиоху душа могла понять его или сердце младенческое, чистое, беспечно отдавшееся ему. Так прекрасную душу женщины понимает только пламенная душа любящего ее человека или дитя, которое безотчетно улыбается на ее материнскую слезу и питается жизнью из ее груди!

«Леонид! — говорил мне Антиох, — человек есть отпадший ангел божий. Он носит семена рая в душе своей и может рассадить их на тучной почве земной природы и на лучших созданиях

бога — сердце женщины и уме мужчины! Мир прекрасен, прекрасен и Человек, этот след дыхания божьего. Бури низких страстей портят, бури высоких страстей очищают душную его атмосферу и сметают пыль ничтожных сует. Любовь и дружба — вот солнце и луна душевного нашего мира! К несчастию, глаза людей заволокает темная вода: они не видят их величественного восхождения, прячутся в тени от жаркого полдня любви и пугаются привидений священной полуночи дружбы или больными, слабыми глазами не смеют глядеть на солнце и спят при серебристом свете месяца. Тяжело тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только храпенье сонных. Пустыня жизни ужасна — страшнее пустынь земли! Как грустно смотреть, если видишь и понимаешь, чем могли б быть люди и что они теперь!»

С жаром детских надежд опровергал я слова Антиоха, указывая ему на светлую будущность нашей жизни.

«Утешайся этими мечтами, храни их, Леонид! — ласково, но задумчиво говорил Антиох. — Эта мелкая монета всего лучше в торговле жизнью, и — горе тому, кто принесет на рынок людской жизни горсть драгоценных алмазов: если бы

люди и могли оценить их, им не на что будет их купить; никто тебе не разменяет их, никто не продаст тебе на них ничего, и ты, обладатель алмазов, умрешь с голоду! Открой мне поприще, достойное высоких порывов души, поставь мне метою лавровый или дубовый венок, не оскверненный мелкими отношениями. А! самая смерть в достижении к этому венку будет сладостною целью жизни! Но покупное, но ничтожное — за ними ли пойду я! Так на торжественном пире народном ставят золоторогих быков, и безумная чернь дерется за куски их мяса, лезет на шест, стараясь достать позолоченный крендель, положенный на его вершине…

Леонид! ты еще не испытал терзательных бичей жизни. Ты еще не ставил на карту мечтаний всего своего счастия. Ты не знаешь еще муки неудовлетворенных стремлений души в любви, дружбе и славе! Горестный опыт научил меня многому, что тебе неизвестно».

Антиох рассказал мне главные подробности своей жизни. Отец его, бедный офицер, увез дочь богача, и жестокосердный старик проклял их.

«Я не помню радостей младенчества, — говорил мне Антиох. — Угнетающая бедность, слезы матери, бледное лицо моего доброго отца — вот

привидения, которыми окружена была колыбель моя. Бедность убийственна, а я испытал ее, испытал вполне: я видел, как мать моя терзалась последними смертными муками, и лекарь не шел к ней, потому что нечем было заплатить ему за визит! Я видел, как отец мой держал в руке рецепт, прописанный лекарем, и плакал: ему не с чем было послать в аптеку! Мы должны были много аптекарю; он не хотел нам отпускать более в долг, а у нас не было ни одной копейки! Двенадцати лет был я, когда проводил бедный гроб матери на кладбище и, возвратясь домой, застал отца без памяти — его повезли в больницу.

Я составлял единственное утешение матери моей, и воспитание мое было в странной противоположности с состоянием нашим. Женщина, каких не встречал я после, святой идеал материнской любви! зачем так рано раскрыла ты мое сердце? Зачем не дозволила свету охолодить, облечь меня в свои приличия и условия? Но тебе потребна была душа родная, с которою могла бы ты делиться своею душою, своим сердцем. И твоя мечтательная, любящая душа погубила меня! Голова моя была уже романическою, когда я едва понимал самые обыкновенные предметы жизни. Единственный друг нашего семейства, пастор

лютеранской церкви того города, где мы жили, был другой губитель мой. Его высокая добродетель, его трогательная проповедь, его музыка, его слова, беседы с моею матерью уносили меня за пределы здешнего мира. Добрый старик этот в один год лишился нежно любимой жены, двух дочерей и осиротел на чужой стороне в старости лет. Единственное утешение его было, когда мать моя со мною приходила к нему, и он мог плакать, мог говорить с нею о милых, утраченных им, о своей доброй Генриетте, о своих незабвенных Элизе и Юлии. По целым часам стоял я иногда и слушал, когда он, забывши весь мир, один в своей кирхе, играл на органах — я слушал божественные звуки Моцарта и Генделя, и голова моя горела, пока я не начинал неутешно рыдать. Тогда старик переставал играть и обнимал меня со слезами… Мы казались друзьями, ровесниками…

Из этого мира романической жизни и мечтаний вдруг перешел я в мир совершенно противоположный. Дед мой услышал о смерти моей матери. Одиноко, грустно проводил он жизнь среди своих богатств. В больницу, где лежал отец мой, явился этот старик: все было забыто, горесть примирила их. Я воображал себе деда строгим,

угрюмым богачом: увидел седого, убитого печалью старика, который обнимал меня, называл своим милым Антиохом. Отец мой выздоровел, снова вступил в службу; я переселился к моему деду. Вскоре бессарабская чума лишила меня отца…

Дед мой жил как богатый русский помещик, окруженный многочисленною дворнею, льстецами, прислужниками. Меня, его единственного наследника, облелеяли все прихоти, все изобретения роскоши. Но грубый мир страстей, который увидел я у деда, старика, обманываемого всем, что его окружало, не только не увлек меня, но отвратил от себя и увеличил противоположность мечтательной души моей и действительной жизни. Все время, которого не проводил я в учебной своей комнате с множеством учителей, для меня нанятых, был я с моим дедом — как говорится, не слышавшим во мне души, — или бродил по окрестным лесам, с книгою, с мечтами, или скакал по полям на борзом коне. Соседи наши, добрые грубые люди — особливо соседки, матушки, тетушки, кузины, дочки их, — заставляли меня с особенною охотою скрываться в мое уединение».

Выражение Антиоха сделалось колким, на-

смешливым, когда он описывал мне грубую безжизненную жизнь деревенского быта: помещиков, переходящих от овина к висту, помещиц, занятых то ездою в гости, то сватаньем дочерей. Но с большею насмешкою говорил он мне о сельских красавицах — полных, здоровых, с румяными щеками, с бледною душою, красивых личиками, безобразных сердцами…

«Я искал душ в этих прозябающих телах, — говорил Антиох. — Часто увлекался я добродушием отцов, простотою матерей и взрослым младенчеством детей их. Но грубые формы их вскоре отталкивали меня, и всего грустнее мне было видеть, когда я находил следы чего-то прекрасного, высокого, насильно заглушенного среди репейника и полыни сует и мелких отношений. Я готов был тогда жаловаться на провидение, сеющее бесплодные семена или попускающее расклевывать их галкам и воронам ничтожных отношений, душить их белене и чертополоху невежества.

Я выпросился у деда моего в Геттингенский универсситет. Мне и потому несносно было оставаться более в деревне, что меня там невзлюбили наконец, называли философом — страшная брань в устах тамошних обитателей, — чудаком,

нелюдимом, насмешником.

Германия — парник, где воспитывает человечество самые редкие растения, унесенные человеком из рая; но она — парник, Леонид! — а не раздольное поле, на котором свободно возрастали бы величественные пальмы и вековые творения человеческой природы. «Германия снимает с лампад просвещения нагар, но зато от нее пахнет маслом», — сказал не помню кто, и сказал справедливо. Однако ж в ней провел я лучшие минуты жизни — в ней, и еще в итальянской природе, и между швейцарскими горами, где песня приволья отдается между утесами горными и вторит шуму вечных водопадов…

Внезапная смерть деда заставила меня возвратиться в Россию, о которой сильно билось сердце мое на чужбине. Не зная разлуки с отчизною, не знаешь и грусти по отчизне, не знаешь, какую прелесть имеет самый воздух родины, какое очарование заключается в снегах ее, как весело слышать наш русский, сильный язык! Я увидел себя обладателем большого имения; сила души моей не удовлетворялась более одним ученьем. Мне хотелось забыть и мечты мои, и противоположности жизни в деятельных, достойных мужа трудах; хотелось узнать и большой свет.

Мой друг! кто рано начал жить вещественною жизнью, тому остается еще необозримая надежда спасения в жизни души; но беден, кто провел много лет в мире мечтаний, в мире духа и думает потом обольститься оболочкою этого мира, миром вещественным! Так путешествие — отрада для души неопытной, обольщаемой живыми впечатлениями общественной жизни и природы, но оно — жестокое средство разочарования для испытанного жильца мира! Богатые лорды английские проезжают через всю Европу нередко для того, чтобы навести пистолет на разочарованную голову свою по возвращении в свои великолепные замки. Есть путешествия, в которых душа человеческая могла бы еще забыться, — путешествия по бурным безднам океана, среди льдов, скипевшихся с облаками под полюсом, среди палящих степей и пальмовых оазисов Африки, среди девственных дебрей Америки. Но такой ли мир для души петербургский проспект и эти размраморенные, раззолоченные залы и гостиные? Кто привык и крепкому питью, тому хуже воды оржад, прохлаждающий щеголеватого партнера кадрили. Вода, по крайней мере, вовсе безвкусна, а бальный оржад — что-то мутное, что-то приторное… Несносно!

Если бы горела война, изумлявшая Европу в 1812 году, если бы грудью своею ломил нашу Русь тогдашний великан, которому мечами вырубили народы могилу в утесах острова Св. Елены, — под заздравным кубком смерти можно бы отдохнуть душою; если б я был поэтом, мог в очарованных песнях высказывать себя, — я также отдохнул бы тогда, я разлился бы по душам людей гармоническими звуками, и буря души моей исчезла бы в громах и молниях поэзии; если бы я мог, хотя не словами, но звуками только оживлять мечты, которым тесно в вещественных оковах… Но ты знаешь, что я не поэт и не музыкант! Непослушная рука моя всегда отказывалась изображать душу мою и в красках, и в очерках живописных. О Рафаэль, о Моцарт, о Шиллер! Кто дал вам божественные ваши краски, звуки и слова? Для чего же даны они были вам, а не даны мне? И для чего не передали вы никому тайны созданий ваших? Или вы думали, что люди недостойны ваших тайн? И для чего же судьба дала мне чувства, с которыми я понимаю всю ничтожность, всю безжизненность моих порывов, смотря на небесную Мадонну, слушая «Requiem» и читая «Resignation»? «Звуков, цветов, слов! — восклицаю я, — их дайте мне, чтобы сказаться

на земле небу! Или дайте же мне душу, которая слилась бы со мною в пламени любви…» И что же вокруг меня? Куклы с завялыми цветами жизни, с цепями связей и приличий! Чего им от меня надобно? Моего золота, которое отвратительно мне, когда я вспоминаю, что мать моя умирала, а у меня не было гривны денег купить ей лекарства! И эту купленную любовь, эту продажную дружбу, эти обшитые мишурою расчета почести будут занимать меня?.. Никогда!»

Вы назовете Антиоха моего безумцем, мечтателем? Не противоречу вам, не хвалю его, но — таков он был. Не осуждайте его хоть за то, что впоследствии он расплатился дорого за все, что чувствовал, о чем говорил и мечтал. Простите ему, хоть за эту цену, его безумие и, если угодно, извлеките из этого нравственный вывод, постарайтесь еще более похолодеть, покрепче затянуться в формы, приличия и обыкновенные, благоразумные, настоящие понятия о жизни. Его пример будь нам наукой: не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях. Лучше дремать на берегу лужи, нежели тонуть, хотя бы и в океане… — Леонид улыбнулся и продолжал рассказ:

— Не все, что высказал я вам, говорено было на-

ми во время прогулки на Чичаговой даче в этот незабвенный дня меня вечер, после которого мы почти не расставались с Антиохом. Каждый раз привязывался я к нему более и более, каждый раз лучше узнавал я эту душу, пылкую, независимую, добрую, как у младенца, светлую, как у добродетельного старца, пламенную, как мысль влюбленного юноши. Не знаю, что полюбил Антиох во мне. Может быть, детское самоотвержение, с каким вслушивался я в голос его сердца, в высокие отзывы души его.

Тогда узнал я, что делывал Антиох, запираясь у себя дома и отказывая посетителям. Склонность к мечтательности, воспитанная всею его жизнию, увлекала Антиоха в мир таинственных знаний, этих неопределенных догадок души человеческой, которых никогда не разгадает она вполне. Исследование тайн природы и человека заставляли его забывать время, когда он занимался ими. Исследования магнетизма, феософия, психология были любимыми его занятиями. Он терялся в пене мудрости, которая кружит голову вихрями таинственности и мистики. Знания, известные нам под названиями каббалистики, хиромантии, физиогномики, казались Антиоху только грубою корою, под которою скрываются

тайны глубокой мудрости.

Я не мог разделять с ним любимых его упражнений, однако ж слушал и заслушивался, когда он, с жаром, вдохновенно, говорил мне о таинственной мудрости Востока, раскрывал мне мир, куда возлегает на мгновение душа поэта и художника и который грубо отзывается в народных поверьях, суевериях, преданиях, легендах. Антиох не знал пределов в этом мире. Эккартсгаузен, Шведенборг, Шубарт, Бем были самым любимым его чтением.

«Тайны природы могут быть постижимы тогда только, когда мы смотрим на них просветленным зрением души, — говорил он. — Кто исчислит меру воли человека, совлеченной всех цепей вещественных? Где мера и той божественной вере, которая может двигать горы с их места, той дщери небесной Софии, сестры Любви и Надежды? Природа — гиероглиф, и все вещественное есть символ невещественного, все земное — неземного, все вещественное — духовного. Можем ли пренебречь этот мир, доступный духу человеческому?»

«Мечтатель! — говорил я иногда Антиоху, — ты погубишь себя! Мало тебе идеалов, которых не находишь в жизни, — ты хочешь из них со-

здать целый мир и в этом мире открывать тайны, которые непостижимы человеку!»

«Но они постижимы ему в зрящем состоянии ума, во временной смерти тела — сне — и в вещественном соединении с природою — магнетизме! Но если я и грежу, если это и сон обольстительный, не лучше ли сон этот бедной вашей существенности? Если сон приставляет крылья телу — мечта подвязывает крылья душе, и тогда нет для нее ни времени, ни пространства. О, мой Леонид! Если дружбу мою столько раз, со слезами, называл ты благословением неба, зачем не могу я изобразить тебе, что сказала бы родная душа о моей любви, о любви выше ничтожных условий земли и мира! Да, правда: эта любовь не для земли — ее угадала бы одна, одна душа, созданная вместе с моею душою и разделенная после того. Леонид! назови меня сумасшедшим, но Пифагор не ошибался: я верю его жизни до рождения — и в этой жизни — верю я — было существо, дышавшее одной душою со мной вместе. Я встречусь некогда с ним и здесь; встреча наша будет нашею смертию — пережить ее невозможно! Умрем, моя мечта! умрем — да и на что жить нам, когда в одно мгновение первого взора мы истощим века жизни?..»

Не знаю, поняли ль вы теперь странную, если угодно, уродливую душу Антиоха, которая открывалась только мне одному и никому более? Для других продолжал он быть прежним, насмешливым, холодным молодым человеком, не переменял образа своей жизни, жил по-старому, служил, как другие…

В это время приехал в Петербург какой-то шарлатан: называю его так потому, что его нельзя было назвать ни артистом, ни ученым человеком. Он, правда, не объявлял о себе в газетах, не вывешивал над своею квартирою огромной размалеванной холстины днем, ни темного фонаря с светлою надписью по вечерам и называл себя Людовиком фон Шреккенфельдом; однако ж разослал при театральных афишках известие, для любителей изящных искусств, о мнемо-физико-магических вечерах, какие намерен давать петербургской публике, и «льстил себя надеждою благосклонного посещения». В огромной зале давал он эти вечера. Цена за вход назначена была десять рублей, и зала каждый раз была полна. В самом деле — было чего посмотреть. Удивительные машины, непонятные автоматы, блестящие физические опыты занимали прежде всего посетителей. Потом приглашенные лучшие

артисты разыгрывали самые фантастические музыкальные пьесы; иногда фантасмагория, кинезотография, пиротехника, китайские тени изумляли всех своею волшебною роскошью. Но молодых посетителей более всего привлекала к Шреккенфельду девушка, которую называл он своею дочерью.

Не знаю, как описать вам Адельгейду: она уподоблялась дикой симфонии Бетховена и девам-валкириям, о которых певали скандинавские скальды. Рост ее был средний, лицо удивительной белизны, но не представляло ни стройной красоты греческой, ни выразительной красоты Востока, ни пламенного очарования красоты итальянской; оно было задумчиво-прелестно, походило на лицо мадонн Альбрехта Дюрера. Чрезвычайно стройная, с русыми, в длинные локоны завитыми волосами, в белом платье, Адельгейда казалась духом той поэзии, который вдохновлял Шиллера, когда он описывал свою Теклу, и Гете, когда он изображал свою Миньону. Вечера Шреккенфельда отличались тем от обыкновенных зрелищ за плату, что хозяин и дочь его не собирали при входе билетов, и собрание у них походило на вечернее сборище гостей. Шреккенфельд и Адельгейда казались добрыми

хозяевами, и пока артисты разыгрывали разные музыкальные пьесы, ливрейные слуги угощали посетителей без всякой платы, а он и она занимали гостей разговорами, самыми увлекательными, веселыми, разнообразными. Затем, как будто нечаянно, хозяин начинал рассуждать о природе, ее таинствах и принимался за опыты. Но все ждали нетерпеливо того времени, когда Адельгейда являлась на сцену. Она обладала удивительными дарованиями в музыке, говорила на нескольких языках, и, несмотря на ее всегдашнюю холодность и задумчивость, разговор Адельгейды был блестящ, увлекателен. Заметно было, что она выходила на сцену неохотно. Обыкновенно начинала она игрою на фортепиано, а чаще на арфе. Задумчивость ее исчезала постепенно — игра переходила в фантазию, звуки лились, как будто из ее души, голос ее соединялся с звуками арфы. Тогда глаза ее начинали сверкать огнем восторга. Она пела, декламировала, оставляла арфу, читала стихи Гете, Шиллера, Бюргера, Клопштока. Раздавались звуки невидимой гармоники, скрытой от зрителей, и потрясали душу. Каждый думал тогда, что видит в Адельгейде какое-то воздушное существо, каждый ждал, что она рассеется, исчезнет легким туманом. Тогда только раздава-

лись рукоплескания зрителей, когда Адельгейда уходила со сцены, скрывалась от взоров и к звукам гармоники присоединялся шумный хор музыкантов. Адельгейда не являлась уже к зрителям после игры и декламации, и Шреккенфельд оканчивал вечера изумительными фокусами или фантасмагориею.

Слухи о вечерах Шреккенфельда и особенно об его Адельгейде привлекали к нему молодежь. Каждый шел посмотреть на нее, как на кочевую комедиянтку, походную певицу. Но каждого изумлял взгляд на нее и особенно разговор ее. Свобода обращения Адельгейды с молодыми людьми представляла разительную противоположность с ее холодностью. Один взор Адельгейды останавливал двусмысленный разговор или дерзкое слово самого безрассудного ветреника, а ее дарования заставляли забывать, что она была дочь какого-то шарлатана и показывала опыты необыкновенных дарований своих за деньги.

Шреккенфельд скоро составил у себя особенные, частные вечера, давая публичные вечера только один раз в неделю. Он занимал богатую квартиру, и всякий, кто был порядочно одет и знакомился с ним на публичных его вечерах,

имел право прийти к нему на частный вечер и привести с собою знакомого. Совершенная свобода была в этих собраниях, хотя вид Адельгейды удерживал всех в совершенной благопристойности. Шреккенфельд был неистощим в занятии гостей: пение, музыка, опыты ученые, декламация и игра Адельгейды занимали одних, большая карточная игра — других. Шреккенфельд держал огромный банк, выигрывал и проигрывал большие суммы, хотя сам никогда не садился играть, и только повсюду надзирал своими зелеными, лягушечьими глазами. Он внушал всем какое-то невольное отвращение, так, как Адельгейда всех привлекала собою. Нельзя было не удивляться обширным знаниям Шреккенфельда; притом он свободно говорил на пяти или шести языках; но всякое движение его было разочтено, продажно. Он казался всезнающим демоном, а Адельгейда — духом света, которого заклял, очаровал этот демон и держит в цепях. Внезапный восторг, одушевлявший задумчивую Адельгейду при музыке и поэзии, можно было почесть мгновением, в которое этот ангел света вспоминает о своем прежнем небе.

Посетив раза три Шреккенфельда, я, как и другие, был очарован Адельгейдой. Но это не была

любовь. Я смотрел на Адельгейду, как на волшебное привидение какое-то, как на создание из звуков музыки и слов поэзии. С восторгом говорил я об ней Антиоху. Он смеялся и отвечал мне, что один вид шарлатана ему отвратителен, и, несмотря на то что многие шарлатаны обладают тайнами знаний, неизвестными ученым, дарованиями, какими могли бы гордиться художники, он всегда видит в них презренных торгашей божественными дарами, ремесленников, унижающих величие человека.

«Признаюсь тебе, Леонид, что женщина, показывающая за деньги свои дарования, есть для меня творение нестерпимое. Я могу равнодушно смотреть на паяца, на фокусника, но на певицу — не могу, все равно что на эквилибристку! Смейся, но я не пошел слушать Каталани в ее концерте и слышал ее в частном доме: я не пошел бы в концерт ни Малибран, ни Пасты! Один вид приставника, который отбирает у меня билет при входе, поворачивает мое сердце и разрушает для меня очарование. Иное дело в театре, где все является мне в каком-то оптическом обмане».

* * *

Но я уговорил его идти к Шреккенфельду. Антиох сел в дальнем углу залы, холодно слушал музыку, невнимательно смотрел на опыты Шреккенфельда. Он видел и Адельгейду, но, казалось, не замечал ее. В ту минуту, когда Адельгейда села за арфу, обратила взоры к небесам и начала тихими аккордами, движение Антиоха заставило меня взглянуть на него. Я увидел, что глаза его загорелись. Чудные звуки арфы слились с голосом Адельгейды — Антиох едва мог сидеть на месте. Неизъяснимая грусть, смешанная с какою-то радостью, что-то непонятное для меня изображалось на лице Антиоха. Надобно сказать, что в этот роковой вечер и Адельгейда была очаровательна, неизобразима! Когда она оставила арфу и начала декламировать, с вдохновенным взором, с горящими щеками, с глазами, полными слез, — я не посмел бы влюбиться в нее: так неземна казалась мне Адельгейда! Она читала чудное посвящение «Фауста», и эти, столь известные, слова:

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!

Die friih sich einst dem triiben Blick gezeigt.
Versuch
ich wohl, euch diesmal festzunalten?
Fiihl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?

(Опять ты здесь, мой благодатный гений,
Воздушная подруга юных дней!
Опять, с толпой знакомых привидений,
Теснишься ты, Мечта, к душе моей!

Жуковский)

— казались импровизациею в устах Адельгейды; казалось, что мы слышим их в первый раз! Когда же «звуки смычка, водимого по сердцу человеческому» (как сказал о гармонике наш известный поэт), раздались в зале и среди их умолкающих, замирающих переливов Адельгейда произнесла:

Und mich ergreift ein langst entwohntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich.
Es schwebet nun in unbestimmten Tonen,
Mein lispelnd Lied, der Aolsharfe gleich,

Ein Schauer
fafit mich, Trane folgt den Tranen,
Das btrenge Herz, es fuhlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh ich wie in Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu
Wirklichkeiten!..

(И снова в томном сердце возникает
Стремленье в оный таинственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,
Чуть слышимый, как Гения полет,
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным;
Погибшее опять одушевленным…

Жуковский)

— слезы потекли из глаз ее… Антиох закрыл глаза своим платком, и, пока раздавались рукоплескания, он поспешно ушел из собрания.

* * *

Дня три после того не удалось мне видеться с Антиохом. Я застал его смущенного, бледного. Против обыкновения, он не ходил в наш департамент и дома ничего не делал, расхаживал взад и вперед, сложа руки.

«Ты болен, Антиох?» — спросил я.

«Нет, кажется, а, впрочем, может быть, и болен».

Он замолчал, продолжал ходить и вдруг остановился передо мною, когда я сел и в беспокойстве смотрел на него.

«Леонид! — сказал он мне. — Какой злой дух внушил тебе мысль увлечь меня к Шреккенфельду, к этому демону, волшебнику? В каком мире жил я в эти дни? Что я чувствовал? Что это заговорило для меня во всей природе? Что вложило душу и голос во все бездушные предметы и слило голоса всего в один звук, в одно имя, которое беспрестанно режет мне слух мой, вползает в душу мою адскою змеею, сосет мое сердце?»

«Антиох! неужели Адельгейда произвела на тебя такое сильное впечатление?»

«Впечатление! Не любовь ли, скажешь ты? Неужели это любовь — любовь, этот палящий

яд, который течет теперь по моим жилам и в каждой из них бьется тысячью аневризмов? О нет! Это не любовь! Я не люблю, не уважаю Адельгейды — торговки своими дарованиями, дочери воплощенного демона! Я — презираю ее! Но это какое-то очарование, от которого, как от взора гремучей змеи, спирается мое дыханье, кружится моя голова… Это какое-то непонятное чувство, похожее на усилие, с каким вспоминаем мы о чем-то былом, о чем-то знакомом, забытом нами… Леонид! я видал, я знал когда-то Адельгейду — да, я знал ее, знал… О, в этом никто не разуверит меня!.. Я знал ее где-то; она была тогда ангелом божиим! И следы грусти на лице ее, и этот взор, искавший кого-то в толпе, — все сказывает, что она жила где-то в стране той, где я видал ее, где и она знала меня… Но где, где? Не на Альпах ли раздавался ее голос и закипел в моем сердце слезами памяти? Не на Лаго ли Мадяшоре он носился надо мною в запал в душу с памятью об яхонтовом небе Италии?» Антиох рассказал мне, что третьего дня, оставив собрание Шрекенфельда, он бродил всю ночь, сам не зная где. Слова, голос, музыка Адельгейды преследовали его, терзали, заставляли плакать, и только говор пробудившегося, зашевелившегося по улицам

народа напомнил ему самого себя. Он заперся у себя в доме и на другой день, сам не зная как, вечером, желая подышать свободным воздухом, решась идти за город или на взморье, он опять очутился у Шреккенфельда, сел в углу и смотрел на Адельгейду. «Думаю, — продолжал Антиох, — что я походил на всех других, бывших у проклятого шарлатана этого, потому что никто не изумлялся, не дивился мне. Помню, что кто-то даже рекомендовал меня Шреккенфельду. А если бы знали люди, что тогда был я, что была тогда душа моя!..»

* * *

Адельгейда декламировала на сей раз только песню Теклы. Не стану читать вам немецкого подлинника. В пленительных стихах Жуковского, может быть, вам будет понятнее этот «Голос с того света»:

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла…
О друг! Я все земное совершила:
Я на земле любила и жила!

Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья?

Без страха верь: обмана сердцу нет –
Сбылося все! Я в стороне свиданья,
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет!

Друг! На земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят!
О милый! здесь не будет безответно
Ничто, ничто – ни мысль, ни вздох, ни взгляд!

Не унывай! Минувшее с тобою!
Незрима я, но в мире мы одном.
Будь верен мне прекрасною душою –
Сверши один начатое вдвоем!

Адельгейды не стало, но Антиох не двигался с места, сидел неподвижно и тогда только опомнился, когда Шреккенфельд подошел к нему и что-то начал ему говорить. Антиох увидел, что все разошлись, зала опустела и он был один. Схватив шляпу свою, он поспешил за другими. Шреккенфельд провожал его самым учтивым образом и просил посещать впредь, потому что он видит в нем особенного знатока и любителя изящных искусств.

«Вид его, какая-то злобная радость, какая-то

демонская улыбка были мне так отвратительны, что я дал себе слово никогда не бывать у него более. Но вообрази, что вчера я опять очутился у него; меня влекла какая-то невидимая, непостижимая сила. Адельгейда декламировала песню Миньоны…

(Ты знал ли край, где негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок край неба холодит,
И тихо мирт, и гордо лавр стоит? Туда, туда!

Жуковский)

Но она была выше, лучше, чудеснее Миньоны…»

Антиох закрыл лицо руками и бросился в кресла.

«Антиох! — сказал я, — ты любишь Адельгейду!»

— «Нет!»

«Что же это, если не любовь? — S'amor non é, che dimque é quel ch'io sento?» — спросил я его. Не знаю сам, как пришел мне тогда в голову этот стих.

«Прочь с твоим водяным Петраркою! — вскричал нетерпеливо Антиох, — прочь с стихами! Я

проклинаю их: они сводят с ума добрых людей! Не от них ли столько народа, который был бы порядочным народом, сделалось никуда не годными повесами! И не глупость ли заниматься детским подбором созвучных слов, нанизывать их вместе на нитку одной идеи и этой погремушкой дурачить потом других, заставлять их верить, что будто в этой игре колокольчиков заключено что-то небесное, божественное! Дурацкую шапку, дурацкую шапку Гете, Шиллеру, всем, всем поэтам за то, что они заводят нас в глупые положения, разлучают с делом, с настоящею жизнию, расстраивают нас своими нелепыми мечтами!..»

Он замолчал, ходил большими шагами и вдруг спросил меня очень спокойно: «А согласись, что ты не слыхивал, кто бы читал стихи лучше Адельгейды? Не показывает ли это глубокое сочувствие поэзии, это непостижимое слияние восторга музыки и стихов — души, некогда бывшей великою, ангелом, пери — не знаю чем! И вот она: человек, ничтожный, как другие, — делает кникс за десять рублей, которые ты даешь ей, чтобы она, и с отцом своим, не издохла с голоду! Ха, ха, ха!» Я молчал. И что мог я сказать? Какой ответ поставить против этой бури, разразившейся над пороховым арсеналом?

«Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen

Nach jenem stillen ernsten Geisterreich», –

произнес глухо Антиох. Видно было, что с усилием хотел он обновить на лице своем обыкновенную, презрительную, насмешливую улыбку, но забыл, каких мускулов движением производилась она! «Право, Леонид! — сказал он, — я не люблю Адельгейды; но только меня мучит мысль: где видел я ее? Где? где? Не помню, не знаю; но я ее видал — и это время было самое счастливое в моей жизни, блаженное время! Мне кажется, что если бы я мог только его припомнить, то одного этого воспоминания было бы достаточно для счастия всей остальной моей жизни! Леонид! не говорил ли, не сказывал ли я тебе чего-нибудь подобного о какой-нибудь девушке?»

Я трепетал и не мог выговорить ни одного слова. Увы! я предчувствовал, я предвидел гибель, в которую упал Антиох; я припоминал слова его: «Умрем, моя мечта, умрем, да и на что нам жить?» Я соображал его мечтательный характер, его мистическое направление; трепетал, что он попался теперь в руки шарлатана, всеми поступ-

ками доказывавшего, что для него нет ни бога, ни греха; в руки бродящей певицы, походной комедиянтки, которая само кокетство, может быть, почитает одним из средств пропитания…

* * *

В этот вечер явился я к Шреккенфельду, предчувствуя, что Антиох будет там; я желал рассмотреть все, поклявшись быть ангелом-хранителем моего друга, Шреккенфельд был ко мне отменно ласков. «Придет ли сегодня ваш почтенный приятель, г. Антиох? — спросил он меня. — Мы приготовляем репетицию Бетховеновой симфонии, а он, кажется, отличный знаток и любитель. Пойдемте к нам — здесь нам помешают».

В зале сидело за карточными столами несколько игроков. Мы прошли через несколько комнат и очутились в круглой внутренней комнате. Тут несколько человек разбирали партитуру и готовили инструменты.

Адельгейда держала в руках ноты, задрожала, услышав голос отца, и с трепетом обернулась к нам; при взгляде на меня глубокий вздох вылетел из ее груди и, казалось, облегчил ее. С изумлением прочитал я в глазах Адельгейды чувство: «Слава богу! Это не он!»

До сих пор я видал ее только на сцене, в виде певицы, актрисы; теперь в первый раз увидел я ее по-домашнему, в простом, хотя и щегольском, капоте. Она показалась мне так мила, в движениях ее была такая простота, в глазах ее светилась такая чистая невинность, что мне стало совестно самого себя, когда я вспомнил все оскорбительные подозрения, какими обременял Адельгейду.

Все вокруг меня показывало довольство. Серебряный чайный сервиз стоял на столике. Адельгейда подошла к нему и начала приготовлять чай. Вместо разговорчивой, блестящей певицы я видел молчаливую, тихую девушку, задумчивую, грустную. Шреккенфельд, усадив меня, начал веселый разговор. Адельгейда молчала.

«Неужели, милое чудное создание! — думал я, смотря на нее, пока говорил Шреккенфельд, — неужели тебе суждено погубить моего друга, моего пламенного Антиоха? Между вами нет и не может быть никаких отношений: ты не для него, и он не для тебя! Вижу, что ты сама чувствуешь униженное, презрительное свое состояние — иначе отчего же грусть твоя? Отчего это глубокое выражение печали на лице твоем?»

Тут явился слуга и сказал что-то Шреккенфельду. Он поспешно вышел, и через минуту мы снова

услышали голос его: он возвращался — с ним был Антиох.

Задумчив, мрачен вошел Антиох. Презрение, негодование изображалось на лице его, и он был ужасно бледен. Взгляд на Адельгейду не произвел в нем никакой радости. Я заметил только одно выражение, как будто Антиох, с трудом, совершенно рассеянный, что-то старался вспомнить. Еще внимательней глядел я на Адельгейду: она затрепетала, услышав голос, увидев самого Антиоха; щеки ее вспыхнули, но как будто от усиленной скорби, от негодования; глаза ее поднялись к небу, опустились в землю, и украдкою отерла она слезу.

Началась репетиция симфонии. Антиох молча сел в стороне; Шреккенфельд давал какие-то знаки Адельгейде; взор Адельгейды обратился к отцу, и в глазах отца сверкнул тогда ужасающий гнев, злость. Поспешно вышла Адельгейда. Шреккенфельд мгновенно переменил свою удивительно подвижную физиогномию в самую ласковую, сел подле меня и занял меня разговором, как будто не обращая вовсе внимания на Антиоха. Но мы замолчали, когда безумные звуки Бетховена начали развиваться в неизобразимых аккордах. Среди глубокой тишины всех

вдруг услышал я позади себя восклицание Антиоха: «Это она!» С беспокойством оборачиваюсь и вижу, что Адельгейда сидит подле Антиоха и глядит на него, испуганная, с изумлением. Рука ее была в руке Антиоха. Радость, восторг, изумление, небесное чувство поэзии изображались в глазах его; жаркий румянец горел на его щеках. «Это она — я узнал ее!» — говорил Антиох, забыв, что тут есть посторонние свидетели, что тут отец Адельгейды. Она вырвала у него свою руку, отступила на два шага и поспешно ушла из комнаты.

К счастию, музыканты, занятые разбираньем трудных нот, ничего не слыхали и не заметили. Антиох смотрел на дверь комнаты, куда удалилась Адельгейда, смотрел, как исступленный, как будто все сосредоточилось для него в один взгляд, в один образ — этот образ на одно мгновение пролетел мимо его и унес у него жизнь, и ум, и все идеи его, все понятия, все прошедшее и будущее! Волнение души его видно было в неизобразимой борьбе физиогномии, где радость сменялась печалью, восторг унынием, уверенность недоумением. Всю историю сердца человеческого прочитал бы на лице Антиоха тот, кто умел бы схватить все изменявшиеся быстро переходы страстей, обхвативших его навеки

пламенным вихрем… Человек и жизнь исчезли в нем: в раскаленном взоре, каким преследовал он удалившуюся Адельгейду, я видел взор больного горячкою в ту непостижимую минуту, когда тихая минута кончины укрощает телесные терзания болезни, оставляя всю силу духа, возбужденного натянутыми нервами, и неприметно сливает идею вечного покоя смерти с полнотою деятельности, обхватившею телесный и душевный мир — жизнию.

Какое-то тихое, радостное спокойствие, какое-то чувство наслаждения осталось наконец на лице и означилось во всех движениях Антиоха. Когда подошел к нему я, он крепко пожал мне руку и сказал: «Пойдем! Я поделюсь с тобой тем, чего никто из людей не знает и что я узнал теперь!» Когда приблизился к нему Шреккенфельд, улыбка детского лукавства мелькнула на устах Антиоха.

«Позвольте нам идти теперь, любезный г-н Шреккенфельд, — сказал он. — Могу ли надеяться, что вы не запретите мне иногда приходить, разделять ваши семейственные наслаждения?»

Шреккенфельд улыбнулся адски и, казалось, проницал в душу Антиоха своими ядовитыми глазами. «Г-н Антиох! — отвечал он, — дверь мое-

го дома никогда не будет затворена для любителя и знатока искусств, вам подобного; тем более если к этому присовокупляется личное уважение к его особе».

«Посетите и вы меня, любезный г-н Шреккенфельд. Буду вам сердечно рад: вот мой адрес!»

Антиох подал ему карточку и дружески пожал ему руку.

Мы вышли и почти бежали по улице. Иногда Антиох останавливался, складывал руки и медленно произносил: «Адельгейда, Адельгейда!», как будто это имя надобно было ему вдыхать в себя с воздухом, чтобы поддержать свое бытие. Я хотел начать разговор, но Антиох схватывал меня за руку, влек с собою и говорил: «Молчи, ради бога, молчи!.. Адельгейда, Адельгейда!»

Мы пришли на квартиру его, и Антиох запер за собою двери.

Я думал, что он задушит меня в своих объятиях: так крепко обнял он меня. Он прыгал, как дитя, он смеялся, хохотал, и слезы текли между тем по щекам его, горящим неестественным жаром. «О Леонид! я нашел ее, нашел мою половину души! Загадка жизни моей, загадка жизни человечества найдена мною, — воскликнул наконец Антиох. — Итак, судьба испытывала, терзала,

готовила меня, чтобы я разрешил наконец миру, сказал людям тайну их бытия? Теперь я все понимаю: и тоску, и грусть мою, и мучения души! И как терзался я, приближаясь к разрешению тайны высочайшего блаженства, к бытию цельною, полною душою! Мой взор проникает теперь всю природу: я понимаю, что, делая повсюду уделом человека борьбу духа и вещества, величайшее блаженство наше — смерть — судьба нарочно отделяет от нас разными ничтожными призраками и привидениями — болезнью, страхом, недоумением! И человек трепещет этих бумажных духов «Фрейшица», этой дикой музыки смертного стона, которой привыкло пугаться его воображение. Мы бродим по земле, ища родного душе и сердцу, бродим, не находим, падаем от усталости; тогда судьба начинает жалеть об нас, укачивает нас в вечной люльке, в гробе, и мы засыпаем навсегда, как дети, утомленные беганьем, но перед сном трепещущие всего — и шороха мыши, и стука в окошко, пока все не забудется в игривых фантазиях сна крепкого! Заметь, как искусно скрыта от нас прежняя жизнь наша, наша Urleben, а также и жизнь будущая. Если бы мы знали прежнее наше бытие — мы не могли бы существовать

здесь, на бедной нашей земле: мы не остались бы на ней, если бы знали и понимали, что последует и за земною жизнью! Какой же я выродок, за что я так уродливо счастлив, что все это суждено мне понять здесь? Ах, Леонид! Придумай мне слова, составь мне азбуку, которыми мог бы я высказать, написать людям все то, чему хотел бы я научить их, что хотел бы рассказать им. Я узнал из этого языка только одно слово: Адельгейда! Понимаешь ли ты это слово? Я произнесу его тебе тихо, медленно: А-дель-гейда! Слышишь ли, чувствуешь ли ты, что оно соединяет в себя и звуки музыки, и слова поэзии, и цветы живописи, и формы ваяния, и все мечты души, и все думы сердца? О таких словах думает душа, их ищет она, их слышит и не понимает она в реве морских волн, в грохоте грома, в пении соловья, в песнях поэтов! У поэтов, впрочем, и трудно понять их: ведь они безумцы. Спроси об этом философов, и они растолкуют тебе, что поэты говорят без сознания и потому думают украсить такие слова гремушками, мишурою слов, рифм, всякого вздора. А природа выговаривает такие слова так ясно, громко, просто… Виновата ли она, что мы глухи? Возьми мое слово: Адельгейда, произнеси его — какая симфония сравнится с ним? Напиши,

вырежь его — какое изваяние осмелишься подле него поставить? Тут все — мысль, душа, жизнь, весь мир…»

После того Антиох опять начинал говорить: «Адельгейда, Адельгейда!» Наконец идеи его приняли какое-то определенное, систематическое направление, и он стройно начал рассказывать мне, где и когда видал он Адельгейду.

Как жаль, что я не могу пересказать вам рассказа Антиохова! Помните ли вы слова Байрона:

Her thoughts
Were combinations of disjointed things,
And forms impalpable and unperceived
Of others' sight, familiar were to hers,
And this the world calls phrensy…

(Ее мысли были уравнением несоединяемых предметов, и образы, недоступные и незаметные зрению других, были знакомы ей — а люди называют это безумием…)

Да, свет называет это безумием! Но что мудрость наша? Игра в жмурки! Счастлив, кто хоть за что-нибудь, хоть за сумасшествие ухватился…

«Ты видел, что я признавал с первого взгляда в Адельгейде что-то знакомое, родное, что я старался вспомнить только: где знал я Адельгейду?

Когда ныне пришел я к Шреккенфельду, когда он взял меня за руку и повел в свою комнату, мне казалось, что смертельные судороги гнули все мои кости и смерть была в груди моей. Вы занялись музыкою; я не заметил, как явилась и когда села подле меня Адельгейда. Она сказала мне только одно слово: назвала только меня по имени; она только поглядела на меня, и — забывши все, я схватил в восторге ее руку! Это слово, этот взгляд, это прикосновение пояснили мне в одно мгновение все, и я невольно воскликнул: «Это она!» Все прежнее обновилось в душе моей и сделалось мне совершенно ясно.

Леонид! только одного боюсь я: этот Шреккенфельд, эта Адельгейда — не мечты ли какие-нибудь, созданные моим воображением? Ты гораздо хладнокровнее меня, хоть я и сам себя очень хорошо понимаю и чувствую, — скажи: точно ли она и он существуют? Кажется, я не ошибаюсь: я видел, что она глядит, говорит, я чувствовал, взяв ее за руку, что теплая кровь льется в руке Адельгейды: стало быть, она не привидение! И Шреккенфельд также говорит, ходит; он обещал быть у меня…»

«Что говоришь ты, Антиох!»

«То, что если он и она привидения, оптиче-

ский обман… Да, заметь, что я всегда вижу их только вечером… Если это мечта, и я — сумасшедший!» — Он сильно ударил себя в голову.

«О, мой Антиох! К несчастью — это не мечта. Шреккенфельд и Адельгейда существуют!»

«К несчастию? Почему ж «к несчастью», если они существуют? Я только требую удостоверения твоего в этом; остального ни ты, ни он, ни она не знаете. Шреккенфельд думает, что она дочь его… ха, ха, ха! Какая дочь: это моя душа — половина моей души…

Видишь ли что: есть страна в мире, чудная страна — ее называют Италия. Там все великое, все прекрасное. Столько изящных созданий там, что нет другого равного количества в целом мире. Вообрази, что там был человек, умевший изобразить земными красками, цветною нашею грязью преображенного бога: там есть храм, купол которого кажется небом — так велик он, — и этот купол висит над людьми целые века, ничем не поддержанный; там есть такое изображение красоты в мертвом мраморе, что перед ним красота самой очаровательной девы кажется безобразием; там есть города, утонувшие в виноградниках, миртовых, лавровых, померанцевых лесах; другие построены на волнах моря; другие

на городах, зарытых веками в землю. Там был народ, некогда обладавший целым миром: Север, Запад и Восток стремились к нему туда, боролись там с ним — следы борьбы их остались в исполинских развалинах, обломками которых бросали они друг в друга, и эти обломки величиной с наши города. Там смерть и жизнь слиты вместе, вместе любовь и мука, слезы и пение; горы горят, в море отражаются волшебные невидимые сады и замки фей; на горячем пепле огнедышащих гор растет багряный виноград, зреет маслина; обломки столицы мира окружают тлетворные болота… Там родился Наполеон; оттуда шагнул он на трон полусвета; оттуда, надышавшись в последний раз вдохновенного воздуха, пошел он еще испытывать игру судеб… там видел я Адельгейду! Помню эту хижину в цветнике на берегу моря — этот голубой, опаловый цвет вечернего неба — эту песню рыбака… Адельгейда стояла на дикой скале; арфа была подле нее; она пела — я слушал, не видал, как скрылась она, и на другой день напрасно искал я безвестной моей певицы. Но она была тогда не то, что теперь, и в ее образе я не узнал тогда души моей…

Может быть, она и не заметила встречи со мною, так как, может быть, она забыла тот

мир, где прежде, до Италии, мы жили некогда с нею нераздельным, одним бытием. А! что Италия перед тем миром? Муравейник, на котором расцвела бедная незабудка! Этот мир… немного описаний его найдешь ты у Шекспира, еще у Мильтона… еще у Тасса… еще у Фирдуси… Но все это так мало и недостаточно. На Востоке есть предание, что очарованные райские сады не скрылись с земли, но только сделались невидимы, переносятся с места на место и на одно мгновение делаются иногда видимыми человеку. Есть минуты, когда в них можно войти, подышать их райскими ароматами, напиться жемчужной живой воды их, отведать их золотистого винограда; но они тотчас исчезают, переносятся за тысячи верст, и счастливец остается или на голой палящей степи Юга, или на холодных льдах Севера… В этой-то невидимой стране было существо, которое теперь бродит двойственно по земле под именем Антиоха и Адельгейды. Шреккенфельд, мнимый отец половины меня, — злой демон: он очаровал Адельгейду и дал ей отдельное бытие. Мысль неба хранилась в моей половине души, но это был луч, упавший в бездну мрака. Адельгейда, заклятая демоном, ничего не поймет, пока я не скажу ей волшебного слова:

«Люблю тебя, Адельгейда, половина души моей!» Когда она сознает себя и скажет мне: «Люблю тебя, Антиох!» — тогда очарование разрушится. Предчувствую, что Шреккенфельд понимает опасность, что он употребит все волшебство свое… Но я обману его, я украду у него самого себя. Мне стоит только напомнить Адельгейде о давно минувшем мире, о нездешнем бытии нашем… тогда… но я не могу предвидеть будущего: ведь я человек и потому не знаю, как свершится таинственный союз души моей: останемся ли мы в мире или, говоря по-человечески, умрем — ведь мне все равно… Но мне надобно подумать, поступить осторожно… перечитаю еще раз Бема и Шведенборга. У них это описано довольно подробно и хорошо. Между тем сам демон мой дается в хитрый обман мой: я притворюсь ему другом, и потом…»

Бродячие глаза Антиоха устремились на черкесский кинжал, висевший у него на стене. Он содрогнулся, подумал. «О, нет! не то, совсем не то!» — сказал он, сел за столик свой и придвинул к себе деловые бумаги.

«Надобно поработать немного, Леонид, — промолвил он, улыбаясь, — завтра день доклада директору. Прощай!»

Я пробыл еще несколько времени у Антиоха. Он не говорил ничего более об Адельгейде, спокойно занимался бумагами, подробно рассказывал мне содержание их и то, что хочет писать.

Несколько раз щупал я себе голову, идя домой, где меня ожидали также дела. Слова друга моего были слова безумца; но их стройность, порядок идей и то, что он превосходно говорил мне потом о своих обыкновенных занятиях, совершенно смешивали меня. «Что же это такое? — спрашивал я сам себя. — Неужели в самом деле это закрывали жрецы Изиды непроницаемым покровом, и только безумие есть истинное проявление мудрости и откровение тайн бытия?»

Утром встретился я с Антиохом в нашем департаменте. Кто не знал случившегося с ним, тот не заметил бы ничего. Только глаза его были ярче обыкновенного; но он говорил прекрасно, умно, был даже по-прежнему колок и насмешлив. Однако ж кто-то нечаянно произнес имя Адельгейды — об ней часто говаривали наши товарищи. Антиох вздрогнул, как будто от электрического удара; но он смолчал, и улыбка оживила лицо его.

На другой день, утром, пришел я к Антиоху. Слуга его отворил мне дверь.

«Не велено никого пускать», — сказал он.

«И меня?»

«Об вас ничего не сказано».

«Пусти же.

«Но у барина сидит какой-то неизвестный мне господин, и они занимаются чем-то».

Антиох услышал мой голос, вышел сам и ввел меня в свой кабинет. Там сидел у него Шреккенфельд.

Друг мой казался спокойным, тихим, любезным, ласковым; на столе разложены были разные мистические сочинения, расставлены были разные физические инструменты. Давая мне знаки глазами, чтобы я молчал, Антиох просил Шреккенфельда продолжать. Шреккенфельд казался совершенно занятым предметом разговора, как будто не замечавшим ни знаков Антиоха, ни моего присутствия. Они говорили по-итальянски. Худо разумея этот язык, я, однако ж, понимал, что речь идет о том, что всегда увлекало моего друга. Таинственная феософия, семь Зефиротов, Соломонов храм, слияние душ, высшее созерцание неба и земли — вот что изъяснял Шреккенфельд, по временам рассказывая о разных любопытных опытах и приложениях. Наконец он дружески раскланялся и ушел.

«Ну, все идет как надобно! — сказал мне тогда Антиох с радостною усмешкою. — Представь себе, что этот демон решительно поддается мне! Теперь надобно только поступать осторожнее. Помаленьку начну я изъяснять Адельгейде скрытую от нее тайну до-бытия земного. Нечего делать! Таков человек — падший ангел, в земной своей оболочке, — что ему надобно начинать говорить обыкновенными идеями. Яркий свет, вдруг блеснувший, может ослепить человека. И на солнце глядят сквозь закопченное стекло, а что свет солнца нашего против того света! Стану увлекать Адельгейду словами любви, стану говорить ей о дружбе, о неземных идеалах земного счастия, как будто счастье может быть на этой земле! Мне забавно, что я буду казаться влюбленным, тихонько вздыхать, шептать: «Милая Адельгейда! Люблю тебя!» Буду произносить эти слова, как произносят их все люди, не понимая волшебного их смысла, не зная даже того голоса, каким надобно произносить их. «Люблю!» — говорить Адельгейде: «люблю», когда я только ею и существую, и если бы не было Адельгейды, так все равно что одна половина меня ходила бы по петербургским тротуарам! Вот забавный был бы гуляка, Леонид! Вообрази себе половину

туловища и головы, с одной рукой, с одной ногой, и этот урод прогуливается, смотрит одним глазом, нюхает табак, жмет руку знакомым. А между тем такие душевные уроды ходят вокруг нас, живут, говорят и никто не смеется над ними…»

* * *

Спрашиваю: что мог я сделать? Чем пособить моему другу? Я терялся в размышлениях. Лечить можно только то, на что известны лекарства; но целый мир лекарей до сих пор не умеет лечить душевных болезней. Бедные медики заботятся только о теле и производят опыты только над трупами телесными. Антиох был болен душою; но кто мог когда-нибудь разанатомировать труп души и сказать, чем можно пособить в той или другой душевной болезни? Меня утешала еще несколько мысль, что я не видел перемены ни в здоровье, ни в действиях Антиоха. Напротив, он расцвел, казалось, новым здоровьем, был весел, мил, одевался щегольски. Но он решительно не стал ходить никуда, кроме Шреккенфельда. Там, запершись с этим шарлатаном, просиживал он целые часы, или дома также запирался с ним. Они казались друзьями совершенными. Я старался оправдывать друга моего перед зна-

комыми, спрашивавшими меня, что сделалось с Антиохом. Но скоро все заметили, что Антиох беспрестанно бывает у Шреккенфельда; начали говорить об этом; клубок сплетней навертывался более и более, перекатываясь от одного к другому, и сделался наконец таким огромным шаром, что задавил всякую осторожность. Как обрадовались все те, кого уничтожал прежде Антиох своим превосходством! Какими острыми бритвами явились язычки самых милых девушек! Каждая из них говорила о привязанности Антиоха к бродяге, актрисе, певице, бог знает к чему, и в словах каждой ясно видна была мысль: «Видите ли, он презирал мною потому, что недостоин был моей любви и хорошо понимал это!» А друзья, друзья? Как верно сказал наш поэт, что

…нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью повторенной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг, с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,

О, друзья платили за злословие женщин и девушек самою чистою монетою: и легкое словцо мимоходом, и двусмысленная улыбка при имени Антиоха, и полный рассказ, с прибавкою злобных догадок, и отвратительное сожаление об Антиохе как о человеке весьма умном и любезном, — все было истощено и всего казалось еще мало за прежнее! Мужчины были рады мстить ему даже и за то одно, что, по всем слухам, Антиох успел, в чем не успевали другие, — успел очаровать красавицу и обмануть бдительность отца ее.

Бедная Адельгейда! как об ней говорили… не стану повторять вам! Все, что только можно сказать о самой развратной кокетке, было сказано…

Между тем я был свидетелем обхождения этой странной девушки с Антиохом. Он сделался у отца ее домашним человеком, часто обедал, просиживал вечера у Шреккенфельда, не скрывал любви, потому что нарочно не хотел скрывать ее, следуя постоянно своему плану. Как самая хитрая кокетка, он изучал, казалось, каждое свое движение, каждое слово, каждый взор свой. Весь ум, вся сила души Антиоха были устремлены к тому, чтобы высказать, дать вы-

разуметь Адельгейде самую пламенную страсть. Сам Антиох думал, что он нарочно изучает все возможные тайны искусства любить. Он точно изучал даже все свои движения, когда расставался с Адельгейдою, обдумывал, что и как ему говорить; но, видя Адельгейду, он забывал все это, и вся душа его переливалась в его слова, взоры, движения — начинал ли он говорить Адельгейде о страданиях отверженной любви; исчислял ли бессонные ночи; описывал ли жгучесть слез, проливаемых безнадежною любовью в минуты всеобщего спокойствия; изображал ли страшные сны, терзающие нас за думы любви; говорил ли о нестерпимом чувстве ревности ко всему, что приближается к предмету страсти нашей, ко всему — даже к ветерку, который вьется в ее локоне; описывал ли, напротив, блаженство взаимной страсти, одушевление всего в глазах любимого и любящего человека; сказывал ли о высоте, на которую возносит человека любовь, уничтожающая все препятствия состояний, званий, лет, времени, все земные отношения — все это было пламенем, громом и молниею, Шекспировым сонетом, песнею испанской девы! Адельгейда слушала, молчала, говорила мало, потупляла глаза или неподвижно устремляла их на Антиоха, ды-

шала тяжело, тяжко, бурно, как говорит Пушкин. Рука ее трепетала в руке Антиоховой. Иногда она казалась вся переселившеюся в его речи, жила только слухом. Иногда казалась бесчувственною, непонимающею или нарочно перебивала его слова, нарочно заводила самый обыкновенный разговор и старалась увлечь, удержать при этом разговоре Антиоха, как будто боясь его слов о любви, о поэзии. Среди самого жаркого разговора она вдруг уходила и когда являлась после того, глаза ее были красны от слез. Шреккенфельд, по-видимому, ничего не замечал, был всегда весел, любезен. Между тем постепенно многое переменилось в его общественных отношениях.

Антиох, вскоре после сближения своего с ним, стал говорить, как отвратительна для него девушка, показывающая дарования свои публике; как тяжело сердцу человека, который полюбил бы такую девушку, видеть, что она делит бесценные наслаждения сердца и души с бездушною толпою. Шреккенфельд сначала заспорил, говорил, что человек, который скрывает данные ему от бога дарования, не передает их в полноте людям, лишает людей высоких наслаждений изящными искусствами, похож на недостойного скупца. «В одном человеке должно сосредоточить

весь мир», — говорил Антиох. «Эгоизм непростительный!» — возражал Шреккенфельд. Но вскоре он согласился, и Адельгейда перестала играть на арфе, петь и декламировать перед публикою. Она даже не являлась на публичных вечерах Шреккенфельда и оставалась в своей комнате, где нередко в это время были с нею Антиох, я, двое-трое знакомых или старая угрюмая женщина, называвшаяся ее теткою. Адельгейда пела, играла для нас одних, но ее игра и пение были тогда бездушны, холодны и изредка только одушевлялись прежним восторгом. Она потеряла душу — можно б было сказать, смотря на нее теперь и знавши ее прежде. Впрочем, Адельгейда и не могла по-прежнему петь и декламировать даже потому, что в здоровье ее произошла видимая перемена: грудь ее стала слаба, дыхание тяжело. С тех пор как Адельгейда перестала показываться, вечера Шреккенфельда потеряли свою прелесть; вообще стали менее ходить к нему и потому, что клевета неустанно чернила самого Шреккенфельда и все, что его окружало, что он делал. На частные вечера являлись по-прежнему, но здесь оказалась перемена. Множество шалунов стало собираться у Шреккенфельда; карточная игра усилилась. Часто происходили сцены

буйные, и только хладнокровие, необыкновенный ум и ловкость хозяина могли удерживать дальнейшую огласку и неприятные последствия.

* * *

«М‹илостивый› г‹осударь›, — сказал мне однажды директор нашего департамента, когда я пришел к нему с бумагами, — вы человек молодой, и хорошая репутация должна быть для вас драгоценна. Бывши другом вашего почтенного родителя, я долгом почитаю предостеречь вас и заметить вам, что до меня дошли весьма неприятные для вас слухи».

Я смотрел на него с изумлением.

«Мне сказали, что вы пристрастились к карточной игре и посещаете общества, не делающие чести вашему имени».

Негодование взволновало мою кровь.

«Я замечаю также, что вы не по-прежнему прилежны и слишком увлекаетесь знакомством человека, который может вам повредить, — г-на Антиоха».

Его знакомство могло бесчестить меня!!

«Г-н Антиох человек богатый, — хладнокровно продолжал мой директор, — он может неглижировать службою и своими поступками, хотя

и ему, если вы друг его, должны бы вы посоветовать быть осторожнее».

Директор хорошо знал характер Антиоха: один взгляд заставил бы его немедленно подать в отставку, а у директора была дочь, перезрелая Агнеса, лет двадцати семи; он был притом по уши в долгах, и две тысячи душ Антиоха были такою для него рекомендацией, что милости сыпались на него и заставляли товарищей завистничать.

Я хотел оправдаться, хотел говорить смело, но покраснел и смешался, когда директор упомянул имя Шреккенфельда и Адельгейды.

«Говорят, что вы бываете у этого шарлатана и что г-н Антиох находится даже в связи с его развратною дочерью. Кто не шалил смолода? И даже кто не перебесится, того добродетель ненадежна; но всему, сударь, есть мера. Знайте, что этот человек, этот бродяга Шреккенфельд, становится подозрительным и полиция уже присматривает за ним и за теми, кто к нему ходит. Говорят, что он обыгрывает наверную, а может быть, что-нибудь и хуже — остерегитесь...»

Нам помешали продолжить разговор. С отчаянием увидел я, куда бедственная судьба завлекла Антиоха. Мог ли я теперь оставить его? Как мог я раскрыть ему глаза? Как разуверить порядоч-

ных людей, что самая гнусная клевета очерняла Адельгейду? Как можно было растолковать им состояние души Антиоха? В то же время я не мог скрыть от самого себя, что слухи об отвратительном Шреккенфельде могли быть, хотя отчасти, правдивы и что этот человек был способен на всякое злое дело. Я не знал тогда, что бедствие было уже близко от моего несчастного друга — ближе, нежели я воображал…

В число людей избранных, друзей своего дома, Шреккенфельд допустил одного дерзкого молодого офицера, богача и шалуна отъявленного. Антиох, я, несколько артистов, этот офицер и двое друзей его обедали у Шреккенфельда. За столом лилось шампанское. Офицер пил много; Антиох не пил почти ничего: он сидел подле Адельгейды и разговаривал тихо, с особенным жаром среди общего шумного разговора. Адельгейда слушала его, вздыхала, краснела — в первый раз Антиох говорил ей тогда о своей безумной идее бытия прежде жизни… Видно было, что уединенный разговор их и заметное волнение Адельгейды приводили офицера в большую досаду. Еще за столом он позволил себе несколько дерзостей на счет Адельгейды. После обеда он предложил банк, бросил кучу денег товарищу и сам старался

сесть подле Адельгейды. Холодность ее совершенно взбесила его; он позволил себе несколько таких слов, от которых Адельгейда с ужасом вскочила и отбежала от него. Шреккенфельд принужден был вступиться. Наглец сделался груб. Шреккенфельд сам разгорячился и забыл себя.

«Бродяга, шарлатан! — вскричал офицер, — я прибью тебя, и, в доказательство, как мало уважаю я тебя, Адельгейда должна поцеловать меня сейчас или ты получишь пощечину…» — Он бросился к Адельгейде. Она помертвела и лишилась чувств…

«Прочь!» — вскричал Антиох, молчавший до сих пор и не принимавший никакого участия в ссоре. Сильною рукою оттолкнул он дерзкого. В неистовстве бросился на него офицер.

«Понимаешь ли ты, подьячий, что должно тебе делать?» — вскричал он.

«Не знаю, понимаешь ли ты, пьяный буян, что ты делаешь», — отвечал горячо Антиох.

«Пистолет или шпагу? Выбирай немедленно», — кричал офицер.

Мы хотели утишить ссору, но все было тщетно. Соперники не слушали, не хотели ни на минуту откладывать. С отчаянием в душе, я должен был сопровождать моего друга за город. Дорогою Ан-

тиох не говорил со мною ни слова, и тогда только, как стали заряжать пистолеты, он обнял меня и сказал: «Теперь я понимаю еще более загадку жизни: Адельгейда умрет, и смерть соединит меня с нею. Прости, радуйся счастью друга твоего!»

Весело стал он на барьер, еще раз пожал мне руку… Состояние мое было неизъяснимо… Раздался выстрел — пистолет выпал из руки Антиоха. Я бросился к нему. «Странно! Ничего, — сказал он мне, — я ранен только!»

Соперник его лежал на земле: пуля изломала у него ребро; у Антиоха пуля только скользнула по плечу.

Уже вечером возвратились мы в Петербург. Антиох казался глубоко задумчивым и опять ничего не говорил со мною. Я не имел сил сказать ни одного слова. Антиох велел ехать прямо к Шреккенфельду. Я хотел возражать. «Жизнь и смерть моя соединились в этой минуте! — воскликнул Антиох. — Или не препятствуй мне, или оставь, оставь меня, Леонид! Оставь навсегда!» «Ни за что в мире!» — вскричал я.

* * *

Шреккенфельда не было дома. Не было никого из гостей — комнаты были пусты, темны. «Я хочу

видеть девицу Шреккенфельд!» — сказал Антиох слуге, оттолкнул его и пошел прямо к ней. Она сидела в круглой комнате, на диване, бледная, едва живая. Старуха тетка была подле нее. Едва отворилась дверь, едва вошел Антиох. «Мой Антиох!» — вскричала Адельгейда и бросилась в его объятия.

Да, величайшая радость походит на сумасшествие. Два несчастных существа эти сжали друг друга в объятиях, и продолжительный поцелуй, в котором отозвались все их чувства, вся жизнь, запечатлел роковой союз их…

Антиох сел на диван, Адельгейда подле него, голова ее склонилась на плечо Антиоха, глаза ее устремлены были на его глаза, рука ее обвилась вокруг его шеи… Он начал говорить — Адельгейда также говорила ему, задыхаясь, спеша, как будто стараясь поскорее высказать все и боясь, что после того потеряет навсегда дар слова…

Я сидел в стороне, смотрел на них, и — я не охотник плакать, но слезы невольно капали из глаз моих…

Не думайте, что они объясняли друг другу свои чувства — нет! Это были беспорядочные, отрывистые слова: память прошедшего, блаженство настоящего, мечта будущего, пламень сердца,

жар души, тихий поцелуй, тяжкий вздох — мысль в образах поэтических, слово в фантастических идеях, гармонические звуки неба, жизнь земная в высоких идеалах! Что говаривал мне прежде Антиох о своих безумных мечтах, казалось льдом перед тем, что он говорил теперь Адельгейде… Адельгейда была очаровательна в неестественном состоянии души своей; Антиох одушевлялся чем-то неземным…

Растворилась дверь, и вошел Шреккенфельд. С пронзительным воплем бросилась Адельгейда от Антиоха, и лицо ее, горевшее огнем любви и восторга, побледнело, как будто она увидела перед собою демона адского… Глаза ее сделались дики…

Шреккенфельд казался смущенным, расстроенным. Антиох глядел на него неподвижными глазами, не вставая с своего места.

«М‹илостивый› г‹осударь›, — сказал Шреккенфельд, — кажется, дальнейшие объяснения не нужны? Честь моей дочери погибла, и несчастная история обесславит ее, погубит меня, если вы не сделаете того, к чему долг обязывает каждого благородного человека».

«Что говоришь ты, воплощенный демон? — воскликнул Антиох, быстро вскакивая с дива-

на. — Что сказал ты?»

«Адельгейду никто не мог поцеловать, кроме ее жениха. Вы вошли в дом мой под видом друга; я позволил вам вступить в домашний круг мой: вы поступили бесчестно, вы употребили во зло мою доверенность, вы обольстили дочь мою!»

Антиох затрепетал.

«Мерзавец! — вскричал он. — Злой дух, демон тьмы! Выбирай лучше слова свои! Или ты думаешь, что я не могу уже этою рукою навести пистолет на твою голову и разбить гадкую форму, под которою обладаешь ты половиною души моей!»

«Вы должны жениться на моей дочери, м‹илостивый› г‹осударь›, или — вы бесчестный обольститель!»

«Жениться, — сказал тихо Антиох, водя пальцем по лбу своему, — жениться! Когда она сам я? Какая досада: я совсем не понимаю теперь этого слова! Какое бишь его значение? Heiraten[3], se marier[4]... Но ведь нельзя жениться даже на родной сестре, не только на собственной душе своей?.. А, злой дух! Ты смеешься надо мною!»

---

[3] Сноски: 3
Жениться (*нем.*).

[4] Сноски: 4
жениться (*фр.*).

Шреккенфельд изумился словам Антиоха.

«Говорите яснее, м‹илостивый› г‹осударь›, — сказал он. — Я отдаю вам руку моей Адельгейды, или вы будете иметь дело с раздраженным отцом: я природный дворянин немецкий».

«Адельгейда будет моя! Ты отдаешь ее мне?» — поспешно спросил Антиох.

Шреккенфельд горестно улыбнулся.

«Разумеется, если она будет вашею женою, то она будет вашею, и я отдам ее вам… И что мне теперь в ней: спасение ее зависит от вас… я погубил ее и себя…»

«Ты выдумываешь какие-то условия — я их не понимаю; но это последний обман твой. Если с твоего согласия она будет моею, тогда власть твоя уничтожится. Руку, Адельгейда! Скорее ко мне, Адельгейда, моя Адельгейда!»

Шреккенфельд хотел взять Адельгейду за руку и подвести к Антиоху. Но с смертельным ужасом отступила Адельгейда.

«Позорный обман! — вскричала она. — Никогда!»

Она упала на колени перед Антиохом.

«Прости меня, мой Антиох! прости, ради бога, прости! Я недостойна тебя, великодушный, благородный человек, существо неземное! Этот старик

увлекал тебя, я принуждена была участвовать в его обмане. Он хотел купить твое богатство мною, хотел завлечь тебя, велел притвориться в тебя влюбленною… Душа моя противилась этому. Сколько плакала я, сколько раз хотела открыть тебе весь умысел… Но ты сам сделался моим ангелом-хранителем: ты растолковал мне тайну бытия моего, ты сказал мне, что я тебе родная, что я половина души — я твоя, твоя, Антиох! Никто, ничто не разлучит нас. Если это называется любовью, я люблю тебя, Антиох, люблю, как никогда не любили, никогда не умели любить на земле! Прости, что я не понимала этого прежде и повиновалась этому человеку…»

Адельгейда дико засмеялась: «Он уверил меня, что он отец мой!»

Изумление заставило всех нас безмолвствовать. Но последние слова Адельгейды взбесили Шреккенфельда.

«Дочь недостойная!» — вскричал он.

С воплем бросилась Адельгейда в объятия Антиоха.

«Спаси, спаси меня, мой Антиох! Я думала, что этот демон отец мой, и повиновалась ему! Зачем не сказал ты мне прежде тайны моего бытия!» — «Моя Адельгейда!»

«Твоя, твоя, не правда ли? Навек твоя? А не дочь его, этого демона? Разве ты не знаешь, что если ты назовешь меня твоею, то я никогда уже не разлучусь с тобою? Мы переселимся туда, где нет людей, где нет ни Адельгейд, ни Антиохов, ни Шреккенфельдов — где я и ты одно, где дышат любовью, где жизнь есть одна радость, где нет ни земли, ни неба — мой Антиох! Dahin, dahin (туда, туда)!»

Она лишилась чувств, крепко обхвативши руками Антиоха. Спешили помочь ей, но тщетно: сильный обморок продолжался. В отчаянии бегал тогда по комнате Шреккенфельд. Антиох сидел подле дивана, на который положили бесчувственную Адельгейду; он не говорил ни слова, держал ее руку, ждал, казалось, когда откроет она глаза, но ждал тихо, спокойно, не оказывая ни малейшего знака ужаса — только бледен был он нечеловечески…

Явился лекарь, за которым посылал Шреккенфельд, и объявил, что у Адельгейды сильная горячка. Она открыла глаза, с ужасом поднялась и вскричала: «Где Антиох! Неужели он ушел!»

«Он здесь, Адельгейда!» — отвечал ей Антиох.

Радость блеснула в глазах Адельгейды.

«Не уходи, не уходи от меня, мой Антиох,

жизнь, душа моя — больше, нежели жизнь, — жизнь проходит, любовь остается!»

Глаза ее устремились тогда на Шреккенфельда.

«Ах! и он здесь, здесь! Ради бога, спаси меня, Антиох!» — закричала она и снова лишилась чувств.

* * *

Лекарь советовал Шреккенфельду удалиться. В отчаянии вышел он в другую комнату. Я последовал за ним. Мне жалко стало этого несчастного человека: он не был уже коварным, отвратительным шарлатаном — он был отец, он плакал!

Что сказать вам? Я видел раздирающее душу зрелище: я видел разрушение Адельгейды, прекрасного, юного, цветущего создания! Подле смертного одра ее сидел мой друг в явном помешательстве, о котором я не мог более сомневаться. Три дня и три ночи сидел он, почти не отходя от Адельгейды, забываясь сном на минуту.

Я терял милых мне людей, видал страшно умирающих. Да, всегда

…страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека…

Но никогда не видал и не увижу я ничего подобного, столь терзательного, мучительного! Смертельная, злая горячка нисколько не безобразила Адельгейды: щеки ее пылали, глаза горели, распущенные ее волосы вились локонами по плечам и груди; но со второго дня лекарь объявил, что смерть ее неизбежна. Она не отпускала от себя Антиоха, и если он уходил на минуту, она начинала жаловаться, плакать, как дитя, и Антиох был беспрерывно подле нее. В первые сутки Адельгейда беспрестанно говорила с ним о его безумных мечтах, о своей смерти как о своем вечном союзе с половиною души своей, улыбалась, смеялась, в бреду мечтались ей прелестные сады, где ветерок навевает любовь, где слезы радости освежают землю, где думы счастия спеют в гроздах, где поцелуи летают певистыми птичками… Иногда она снова начинала просить прощения, что участвовала в обманах отца своего. Тогда раскрывала она всю прелестную, ангельскую свою душу и слезами смывала с нее легкую тень вины своей…

Шреккенфельд сидел в другой комнате, слышал все, не смел появиться перед дочерью и терзался муками совести и раскаяния. Он сам рассказал мне все. Историю его, дополненную разными

сведениями, от других собранными, я объясню вам коротко.

Он был сын немецкого дворянина и получил порядочное состояние. Страсть к ученью отвлекла его от всех других занятий, а безрассудная мысль о философском камне превратила все его состояние в газ и дым. Ловкий, оборотливый, он вошел тогда в тайные немецкие общества, был участником всех тугендбундов и принужден был бежать в Италию. Там женился он и родилась его Адельгейда. Связи его по тайным обществам доставляли ему средства жить, но карточная игра разоряла его. Крайность заставила его сделаться карточным обманщиком, ссора с одним сильным итальянским вельможею заставила бежать из Италии. Он решился сделаться фокусником и проехал Европу, показывая опыты фантасмагории, химии, физики. Пользуясь необыкновенными дарованиями дочери, которую любил страстно, он заставлял играть и петь свою Адельгейду перед публикою; но связи и долги отвсюду гнали его. Приехав в Петербург, он начал свои обыкновенные представления, заметил Антиоха и угадал страсть его к Адельгейде. Мысль, что дочь его может сделаться женою богатого русского дворянина, заставила Шрек-

кенфельда употребить для сего всю хитрость, весь ум свой. Он особенно воспользовался мистическим расположением Антиохова характера и заставлял Адельгейду оказывать ему внимание, не понимая, что благородная душа Адельгейды ужасалась притворства, что Адельгейда любила уже Антиоха страстно, но чувствовала, как низко, недостойно ее завлекать Антиоха в сети. Она пренебрегала своим униженным званием, и отчаяние более всего вдохновляло ее, когда она должна была выходить перед публикой. Тем выше становился в глазах ее Антиох, великодушный, полусумасшедший от любви к ней, пламенный. Ей хотелось показать ему все несходство положений их, она страшилась мысли быть его женою, думая, что унизит, обесславит собою Антиоха. В этом отношении, в сознании высокой души своей и низкого звания, несчастного положения отца своего и себя самой, Адельгейда точно была светлый ангел, очарованный демоном, которому не может он противиться. Видя дерзость, вольное обхождение мужчин, приходивших к ее отцу, положение которого становилось более и более затруднительно, она трепетала ежеминутно. И каким ангелом-спасителем показался ей Антиох, когда он так смело

заступился за нее! Когда она опомнилась, узнала, что Антиох поехал драться с наглецом, оскорбившим ее, тогда узнала она и всю меру любви своей к нему. «Я не переживу его! Боже! спаси Антиоха и возьми жизнь мою!» — говорила она, стоя на коленях и молясь со слезами. Антиох явился; радость ее при виде Антиоха перешла в совершенное безумие… Жить после сего было невозможно…

На другие сутки Адельгейда говорила мало, но беспрестанно глядела на Антиоха, держала руку его, радостно улыбалась, шептала ему: «Dahin, dahin! Скоро исполнится все, что говорил ты мне… Ведь ты меня простил? Ведь ты мой Антиох?»

Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freudel[5].

Это были последние слова, Адельгейда казалась после сего забывшеюся. Утром, на четвертый день, Шреккенфельд привлачился к ее постели и, стоя на коленях, обливался слезами. Адельгейда вдруг открыла глаза, обратила взор на отца своего, улыбнулась — взглянула на Антиоха, хотела приподняться, хотела протянуть к нему руку — и не могла — от Антиоха подняла она глаза свои к небу и закрыла их навсегда…

---

[5] Сноски: 5

Минутна скорбь — блаженство бесконечно! — *Перевод В. Жуковского.*

Состояние Антиоха во все это время можно было назвать бесчувственным. Когда, отлучаясь на короткое время из жилища Шреккенфельда, я возвращался в него, постоянно находил я Антиоха неподвижного близ постели Адельгейды; когда, разделяя с ним ночь, засыпал я беспокойным сном и потом просыпался — при слабом мерцании лампы я видел Антиоха, неподвижно облокотившегося на изголовье Адельгейды, считавшего каждое ее дыхание. Казалось, что для него ничего более не существовало, и он сам не чувствовал ни себя, ни других. Когда подходил я к нему, желая уговорить его успокоиться, он пожимал мою руку, давал мне знак молчать и снова обращался к Адельгейде. Никто, кроме его, не подавал ей ни питья, ни лекарства: ни от кого более не брала она их. Понимал ли Антиох ужас своего положения? Не думаю. Он не показывал ни малейшего знака чувства и говорил мало, даже и с самою Адельгейдою, как будто боясь пропустить какое-нибудь слово ее, как будто наслушиваясь ее речей, наглядываясь на нее. По мере того, однако ж, как Адельгейда ослабевала, Антиох более и более начинал понимать себя, складывал руки, судорожно сжимал их, обращал взоры к небу и потом ко мне, как будто

спрашивал меня: «Что это такое, друг мой?»

Адельгейды уже не было, а он все еще держал руку ее. «Отчего так озябла она? Посмотрите: рука ее холодна как лед! Она вся побледнела!» — сказал наконец Антиох и в испуге вскочил с своего места. «Леонид! Посмотри, что с нею сделалось? Посмотри!» — говорил он, толкая меня к Адельгейде. Я обнял его со слезами. Антиох не плакал, хотя глаза его были красные и опухшие. «Она не может умереть, — говорил он, — не может, потому что я еще жив. Что же это такое? Какой это странный перелом болезни? Эти доктора ничего не понимают в психологических явлениях!» Он схватил себя за волосы и вырвал клок их, не чувствуя, что делает. В бессилии склонился он ко мне, глаза его закрылись — он был бесчувствен и неподвижен. Признаюсь: я желал ему смерти… Но смерть надолго забыла Антиоха.

* * *

Бесчувственного перенесли мы его в карету и на руках вынесли из кареты в его квартиру. Доктор, призванный мною, сказал, что это не обморок, что Антиох спит… Не помню, как-то по-латыни назвал он этот сон. Только это не был сон смерти. Ровно через сутки Антиох проснулся,

бодро встал, надел свой всегдашний шлафрок, казался задумчивым, глубоко размышляющим, поглядел на меня, но не оказал ни печали, ни радости, никакого признака жизни. Более часа ходил он по комнате, когда пришел доктор и хотел посмотреть его пульс. Молча Антиох подал ему руку, но не сказал ни слова. Я стал говорить с ним. Он смотрел на меня, не сказал ничего и опять начал ходить. Потом сел он за свой столик, вынул десть бумаги, взял перо, приготовился писать, остановился, долго думал, бросил перо, взял карандаш, тер лоб свой с нетерпением. Так прошло несколько часов. «Завтра!» — сказал наконец Антиох задумчиво, бережно спрятал бумагу, лег на диван свой и скоро заснул.

Пришедши на другой день, я застал Антиоха уже вставшим. Он опять сидел за своим столиком, держал перо, думал, не отвечал на мои слова. Лекарь, приставленный к нему, сказал мне, что всю ночь Антиох проспал каким-то бесчувственным сном.

Целый день просидел он опять за своим столиком и иногда только прохаживался по комнате, думая, молча, потом опять садился и думал. Видно было, что он слышит слова и видит людей, потому что, когда мы стали просить его принять

лекарство, он с досадою и поспешно выпил его. Когда я говорил ему о прежней дружбе нашей, он поглядел на меня, но не сказал ни слова, как будто человек, ничего не понимающий.

Так прошла целая неделя, и в Антиохе не было никакой перемены. Он вставал поутру, не обращая ни на что внимания, спешил сесть за столик свой и целый день просиживал за ним, держа то перо, то карандаш, задумывался, думал, печально прохаживаясь иногда по комнате, и вечером ложился спать, с глубоким вздохом произнося: «Ну, завтра!» Более не слыхали мы от него ни слова.

Доктора, которым рассказывал я всю историю Антиоха, решили, что он в сумасшествии особенного рода, что лечить его нельзя обыкновенным образом, что обыкновенное лечение сумасшедших может только привести его в яростное безумие и что можно надеяться исцеления его со временем. Сон Антиоха всегда походил на бесчувствие смерти: его нельзя было разбудить; ел и пил он весьма мало, и то, когда принуждали его. Я нанял для него квартиру на даче, в прелестном местоположении. Ночью, во время сна, мы, перевезли туда Антиоха. Он проснулся поутру, изумился, казалось, обгляделся кругом, но, увидев свой столик, бумагу, перо и карандаш,

поспешно сел к столику и просидел целый день задумавшись, как будто стараясь что-то вспомнить. Вечером он лег, по обыкновению, спать и, проснувшись на другой день, опять просидел его за своим столиком. Идти никуда не хотел он, иногда с бесчувствием взглядывал в окно и тотчас отворачивался. Однажды веселое общество гуляющих проходило под окном его — он поглядел и отворотился к своему столику.

Мы испытывали лечить его музыкою. Когда раздались звуки арфы, Антиох бросил перо, стал слушать, но через минуту с негодованием покачал головою, опять взял перо и не оказывал более никакого внимания.

* * *

Так прошло несколько месяцев. Мне надобно было ехать из Петербурга; я препоручил Антиоха честному старику, который согласился жить с ним, и доктору, который хотел навещать его каждый день.

Поездка моя была довольно продолжительна. Отправленный по казенной надобности, я не мог иметь постоянной переписки. Меня уведомляли по временам, что Антиох остается в прежнем положении, но — не все сказывали мне!

Во время отлучки моей приехали в Петербург родственники Антиоха и взяли в управление все имение его. Бесчеловечные перевезли Антиоха в дом умалишенных. Честный старик, приставленный мною, умолил их взять для него особую комнату и перевез туда его столик, бумагу, перо и карандаш. Антиох проснулся на другой день в доме сумасшедших и, не обращая ни на что внимания, сел думать за свой столик.

Великий боже! Я увидел Антиоха и ужаснулся. Он вовсе не узнал меня, взглянул на меня, когда я пришел, и снова принялся думать. Он был худ; кожа присохла к костям его; длинная борода выросла у него в это время, и голова его была почти седая. Только глаза, все еще блиставшие, хотя желтые, показывали тень прежнего Антиоха. Прежний прекрасный шлафрок его, висевший лоскутьями, был надет на него.

Я не хотел переводить Антиоха никуда: не все ли для него было равно, в доме ли сумасшедших был бы он или у меня, потому что уж ничто не могло ни занять, ни развлечь его, а нескромное любопытство людей могло быть для него тягостнее в моей квартире. На лето хотел я опять нанять дачу и туда взять с собою Антиоха. Доктора давно отказались лечить его.

Ровно через год после смерти Адельгейды, в одно прекрасное утро, когда солнце ярко осветило комнату Антиоха, он проснулся, поспешно сел за свой столик и вдруг радостно закричал: «Это она, это она!» Приставник бросился к нему. Указывая на слово, написанное на бумаге, Антиох с восторгом говорил ему: «Видишь ли, видишь ли? Это она, это душа моя — я вспомнил, вспомнил таинственное слово, которым могу призвать ее к себе… Мне кажется, я долго думал об этом слове! Неужели ты его не знаешь? Теперь к ней, к ней!»

Приставник обрадовался, услышав первый раз Антиоха говорящего. Он думал, что Антиох излечился. Антиох долго, с наслаждением смотрел на написанное им слово, горячо поцеловал его, хотел встать и вдруг свалился опять на стул свой; голова его склонилась на бумагу; перо выпало из рук его…

Я прибежал опрометью, когда меня известили, и застал Антиоха еще в этом положении. Но он был уже холоден. На бумаге было написано его рукою: Адельгейда.

* * *

Леонид кончил свой рассказ. Мы все молчали. Читатели припомнят, что в числе слушателей были две девушки, одна веселая, с черными глазами, другая задумчивая, с голубыми. Веселая встала и пошла прочь, сказав:

— Он все выдумал. Так не любят, и что за радость так любить?

Леонид не отвечал ей ни слова, но, когда мы, мужчины, составили кружок и стали рассуждать всякий по-своему, Леонид придвинулся к другой девушке. Она плакала, закрывая глаза платком. Леонид взял ее руку и поцеловал украдкою, не говоря ни слова.

— Вы не выдумали? — сказала она, вдруг взглянув на Леонида.

— И не думал, — отвечал Леонид. — Неужели и вы скажете: так не любят!

— О нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но… Леонид?

— Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг: не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды?

Я не вслушался в ответ и не знаю, что отвечали Леониду.

Ф. М. Достоевский
Петербургские сновидения в стихах и в прозе
1860

О, да будет проклята навеки моя должность — должность фельетониста!..

Не беспокойтесь, господа, это не я восклицаю! Признаюсь, что такое начало было бы слишком эксцентрично для моего фельетона. Нет, я так не воскликну, но до приезда моего в Петербург я решительно был уверен, что каждый петербургский фельетонист, принимаясь за перо, чтоб строчить свой еженедельный или ежемесячный фельетон, непременно должен так воскликнуть, садясь за письменный стол. В самом деле, рассудите, о чем писать? Приехала, напр‹имер›, Ристори, и вот — все что ни есть фельетонистов тотчас же строчит во всех фельетонах, во всех газетах и журналах, с направлением и без направления, одно и то же: Ристори, Ристори, — Ристори приехала, Ристори играет; она в «Камме», — тотчас же «Камма», «Камма», что ни развернете, везде «Камма»; в «Марии Сту-

арт», — тотчас же «Стуарт», «Стуарт» и т. д. Так и рвут друг у друга новости! А всего досаднее то, что они действительно воображают, что это новости. Возьмешь газету, читать не хочется: везде одно и то же, уныние нападает на вас, и только согласишься, что много надо иметь хитрости, пронырливости, рутинной набивки руки и мысли, чтоб об одном и том же сказать хоть и одно и то же, но как-нибудь не в тех же словах. И теребят свой умишко несчастные и проклинают свою участь. И сколько, может быть, драм, даже чего-нибудь трагического происходит где-нибудь в сыром углу в пятом этаже, где в одной комнате помещается целая семья, голодная и холодная, а в другой сидит фельетонист, дрожит в продранном халатишке и пишет фельетон á la Новый Поэт о камелиях, устрицах и приятелях, теребит свои волосы, грызет перо, и все это при обстановке совершенно не фельетонной. Но я увлекся; может быть, и ни одного такого нет фельетониста в Петербурге. Может быть, они все ездят в каретах и питаются страсбургскими пирогами… Но что? Ужели фельетон есть только перечень животрепещущих городских новостей? Кажется бы, на все можно взглянуть своим собственным взглядом, скрепить своею собственною мыслию, сказать

свое слово, новое слово. Но боже мой! что вы говорите! Новое слово. Да разве каждый день можно говорить по новому слову, когда во всю жизнь, пожалуй, его не добьешься, а и услышишь, так еще и не узнаешь. Скрепить своею мыслию, говорите вы. Но какою же своею мыслью, где взять свою мысль? Отступите хоть на йоту от мыслей антрепренера, он тотчас же откажет вам и вышлет из журнала. Ну да положим, мысль и будет, но оригинальность, но оригинальность, — где ее-то взять? Мысль ведь это все-таки не ваша. На это надо… да, на это надо ума, прозорливости, таланта! Слишком много вы хотите уж требовать от нашего фельетониста! А знаете ли, что такое иногда фельетонист (разумеется, иногда, а не всегда)? Мальчик, едва оперившийся, едва доучившийся, а часто и не учившийся, которому кажется, что так легко писать фельетон: «Он без плана, думает он, это не повесть, пиши о чем хочешь, тут посмейся, там отзовись с известного рода уважением, тут про Ристори, там про добродетель и нравственность, а там про безнравственность, про взятки например, уж непременно про взятки, и готов фельетон. Ведь мысли теперь продаются совершенно готовые, на лотках, как калачи. Составился бы

только печатный лист, да и дело с концом!» Иному современному строчиле (вольный перевод слова «фельетонист») и в голову не приходит, что без жара, без смысла, без идеи, без охоты — все будет рутиной и повторением, повторением и рутиной. Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век — это… это почти главное дело. Вольтер всю жизнь писал только одни фельетоны… Но боже мой! что я! ведь я сам пишу фельетон. Куда я заехал? Новостей! новостей!

О господа! Мне до того надоели все новости, что я не понимаю, как еще вас от них не тошнит. Вот, например, случилось что-нибудь с Андрей Александровичем! Боже мой! Целые стаи фельетонистов налетают со всех сторон, как хищные птицы на павшую корову. Каждый хватает свой клочок, все клюют, клюют, щебечут, кричат, дерутся, как воробьи, когда они целыми тучами вдруг быстро перелетают с одного плетня на другой. Не в том дело, что они кричат: ведь и об Андрей Александровиче можно сказать, наконец, хоть и что-нибудь путное, ну, хоть занимательное. Не в том дело, а в том… но, господа, позвольте не договаривать в чем. Даже и об Андрее Александровиче не хочется говорить; переменим матерью, поговорим о другом.

Я думаю так: если б я был не случайным фельетонистом, а присяжным, всегдашним, мне кажется, я бы пожелал обратиться в Эженя Сю, чтоб описывать петербургские тайны. Я страшный охотник до тайн. Я фантазер, я мистик, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то все боялся его. Помню одно происшествие, в котором почти не было ничего особенного, но которое ужасно поразило меня. Я расскажу вам его во всей подробности; а между тем, оно даже и не происшествие — просто впечатление: ну ведь я фантазер и мистик!

Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов… Мерзлый пар валил с уста-

лых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование… Скажите, госпо-

да: не фантазер я, не мистик я с самого детства? Какое тут происшествие? что случилось? Ничего, ровно ничего, одно ощущение, а прочее все благополучно. Если б я не побоялся оскорбить деликатность мыслей г-на — бова, я бы прописал себе тогда в виде лекарства — розог, так, за мрачное направление… О, вижу, вижу, как встает передо мной тучный образ покойного Фаддей Венедиктовича.

О, с каким наслаждением подхватил бы он в субботнем фельетоне мою фразу о розгах.

«Вот, смотрите, читатели и милые читательницы! — восклицал бы он четыре субботы сряду, — сами признаются, что им надобно розог. Я по крайней мере написал „Выжигина», а они…» и т. д., и т. д. Но я надеюсь, что Новый Поэт, наследовавший популярность Фаддея Венедиктовича четырнадцатилетним служением искусству, не пропишет мне розог.

И вот с тех пор, с того самого видения (я называю мое ощущение на Неве видением) со мной стали случаться все такие странные вещи. Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Гляндeнингом из рома-

на «Монастырь» Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я… я… служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю… и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, тут же за ширмами. Мы жили тогда все в углах и питались ячменным кофеем. За ширмами жил некий муж, по прозвищу Млекопитаев; он целую жизнь искал себе места и целую жизнь голодал с чахоточной женою, с худыми сапогами и с голодными пятерыми детьми. Амалия была старшая, звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей, ну да пусть она так и останется для меня навеки Амалией. И сколько мы романов перечитали вместе. Я ей давал

книги Вальтер Скотта и Шиллера; я записывался в библиотеке у Смирдина, но сапогов себе не покупал, а замазывал дырочки чернилами; мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай и… расчувствовались так, что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. Она мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила мои две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть — вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, добрая, кроткая, с затаенными мечтами и с сдавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал; даже, может быть, замечал, но… мне приятно было читать «Kabale und Liebe»[6] или повести Гофмана. И какие мы были тогда чистые, непорочные! Но Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и… непроходимую бедность. У него всего имения

---

[6] Сноски: 6
«Коварство и любовь», трагедия Фридриха Шиллера.

было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу». Я даже подозреваю, что будь у него кошка, которую нельзя было принять за куницу, то он, может, и не решился б жениться, а еще подождал. Помню, как я прощался с Амалией: я поцеловал ее хорошенькую ручку, первый раз в жизни; она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась, так странно, так странно, что эта улыбка всю жизнь царапала мне потом сердце. И я опять как будто немного прозрел… О, зачем она так засмеялась, — я бы ничего не заметил! Зачем все это так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях! Теперь я с мучением вспоминаю про все это, несмотря на то что, женись я на Амалии, я бы, верно, был несчастлив! Куда бы делся тогда Шиллер, свобода, ячменный кофе, и сладкие слезы, и грезы, и путешествие мое на луну… Ведь я потом ездил на луну, господа.

Но бог с ней, с Амалией. Только что я сам обзавелся квартирой и смиренным местечком, самым, самым смиренным из всех местечек на свете, мне стали сниться какие-то другие сны… Прежде в углах, в Амальины времена, жил я чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носившим

шинель с воротником из кошки, которую можно было всегда принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице. И вдруг, оставшись один, я об этом задумался. И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. И если б собрать всю ту толпу, которая тогда мне приснилась, то вышел бы славный маскарад… Теперь, теперь дело другое. Теперь мне снится, пожалуй, хоть и то же, но в других лицах, хотя и старые знакомые стучатся иногда в мою дверь. Приснилось мне недавно вот что: жил-был один чиновник, разумеется, в одном департаменте. Ни протеста,

ни голоса в нем никогда не бывало; лицо вполне безгрешное. Белья на нем почти тоже не было; вицмундир перестал исполнять свое назначение. Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю, и когда, бывало, возвращаясь из должности к себе на Петербургскую, он попадал на Невский, то, наверное, на Невском никогда не являлось существа покорнее и безответнее, так что даже кучер, хлестнувший его один раз кнутиком, так, из ласки, когда он перебегал через нашу великолепную улицу, почти подивился на него, потому что он даже не поворотил к нему головы, не то чтобы выругал. Дома у него была старая тетка, родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. И когда все дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отвечал ни слова, писал казенные бумаги или упорно молчал, опустя глаза в землю и что-то пришептывая, как будто замаливал у господа свои прегрешения. Терпения не стало наконец ни у матери, ни у детей. Они жили в мезонине деревянного домика, половина которого уже обвалилась, а другая обваливалась. И когда слезы, попреки и терзанья дошли наконец до последней степени, бедняк вдруг поднял голову и проговорил,

как Валаамов осел, но проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же войти ему в голову, что он — Гарибальди! Да! все чиновники, его сослуживцы, показали, что он уже две недели заботился об этом; вычитал он что-то случайно в подвернувшейся на столе газете. Никогда-то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться, расспрашивать все о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об испанских… И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей. Сознав в себе свое преступление, он дрожал день и ночь. Ни стоны жены, ни слезы детей, ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Невском ногу, ни ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбудившая всеобщий смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо — ничто, ничто уже более не занимало его. Весь божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его. Он одно только видел везде и во всем: свое преступление, свой стыд и позор. Что скажет их превосходительство, что скажет сам Дементий

Иваныч, начальник отделения, что скажет, наконец, Емельян Лукич, что скажут они, они все… Беда! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: виноват, дескать, сознаюсь во всем, я — Гарибальди, делайте со мной что хотите!.. Ну, и сделали с ним… что надо было сделать. Когда мне приснился этот сон, я сам засмеялся над собою и над странностью моих снов. И вдруг — сон в руку. Как вам нравится, господа: вычитал я недавно из газет опять одну тайну. Действительно тайну; в газетах напечатано и истолковано, а все-таки тайну. Открылся вдруг новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, на грудах золота. Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова, был некто отставной титулярный советник Соловьев, имевший около восьмидесяти лет от роду. Он нанимал себе угол за ширмой за три рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квартиру вовремя не платил, оставшись после смерти должен за целый год. В течение этого года новый Плюшкин постоянно был болен, страдал одышкою и грудным рас-

стройством и ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу. Он отказывал себе в свежей пище, даже в последние дни своей жизни. После смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в его бумагах 169 022 р‹убля› с‹еребром›, кредитными билетами и наличными деньгами. Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент Управы благочиния, а тело умершего подлежит вскрытию… Я раздумывал об этом происшествии и приближался к Гостиному двору. Становился вечер; в магазинах, за цельными, слегка запотевшими стеклами, загорелся газ. Рысаки и офицеры летели по Невскому; тяжело хрустя по снегу, неслись блестящие кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменными лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувшей сквозь снег камень; по тротуарам валили прохожие… был канун Рождества… И вот передо мною в толпе мелькнула какая-то фигура, не действительная, а фантастическая. Я ведь никак не могу отказаться от фантастического настроения. Еще в сороковых годах меня называли и дразнили фантазером. Тогда, впрочем, я не пролез в одну

щелочку. Теперь, разумеется, — седина, житейская опытность и т. д., и т. д., а между тем я все-таки остался фантазером. Фигура, скользнувшая передо мною, была в шинели на вате, старой и изношенной, которая непременно служила хозяину вместо одеяла ночью, что видно было даже с первого взгляда. Исковерканная шляпа, с обломанными полями, сбивалась на затылок. Клочки седых волос выбивались из-под нее и падали на воротник шинели. Старичок подпирался палкой. Он жевал губами и, глядя в землю, торопился куда-то, вероятно к себе домой. Дворник, сгребавший с тротуара снег, нарочно подбросил прямо на его ноги целую лопату; но старичок этого даже и не заметил. Поравнявшись со мной, он взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и силы, точно предо мной приподняли веку у мертвеца, и я тотчас догадался, что это тот самый Гарпагон, который умер с полмиллионом на своих ветошках и ходил в Максимилиановскую лечебницу. И вот (у меня воображение быстрое) передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского Скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев лицо колоссальное. Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за шир-

мы. Что ему во всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт? Что ему за дело до этих лиц, до этих лакеев, сидящих на каретах, до этих господ и госпож, сидящих внутри карет; до этих господ, катающихся на рысаках, и до этих господ, бредущих пешком, до этих очаровательных молодых людей, на лицах которых написана ненасытная жажда камелий и рублей серебром?.. Что ему за дело до этих камелий, Минн и Арманс?.. Нет; ничего ему не надо, у него все это есть, — там, под его подушкой, на которой наволочка еще с прошлого года. Пусть с прошлого года: он свистнет, и к нему послушно приползет все, что ему надо. Он захочет, и многие лица осчастливят его внимательной улыбкой. Вот вино — оно бы согрело его кровь; оно бы помогло ему, и даже недорогое вино… Не надо ему никакого. Он выше всех желаний… Но когда я фантазировал таким образом, мне показалось, что я хватил не туда, что я обкрадываю Пушкина, и дело происходило совсем другим образом. Нет, это было, верно, не так. Лет шестьдесят назад Соловьев, верно, где-нибудь служил; был молод, юн, лет двадцати. Может быть, и он тоже имел увлечения, разъезжал на извозчиках, знал какую-нибудь Луизу и ходил

в театр смотреть «Жизнь игрока». Но вдруг с ним что-нибудь случилось такое, как будто подталкивающее под локоть, — одно из тех происшествий, которые в один миг изменяют всего человека, так что он даже сам того не заметит. Может быть, с ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то. И вот Акакий Акакиевич копит гроши на куницу, а он откладывает из жалованья и копит, копит на черный день, неизвестно на что, но только не на куницу. Он иногда и дрожит, и боится, и закутывается воротником шинели, когда идет по улицам, чтоб не испугаться кого-нибудь, и вообще смотрит так, будто его сейчас распекли. Проходят годы, и вот он пускает с успехом гроши свои в рост, по мелочам, чиновникам и кухаркам, под вернейшие заклады. Копится сумма, а он робеет и робеет все больше и больше. Проходят десятки лет. У него уже таятся заклады тысячные и десятитысячные. Он молчит и копит, все копит. И сладостно, и страшно ему, и страх все больше и больше томит его сердце, до того, что он вдруг осуществляет свои капиталы и скрывается в какой-то бедный угол. Он держал было сначала у себя, в заплесневелой квартире своей, со стенами под желтой краской, кухарку

и кошку; кухарка была глупа, но честная от глупости. А он все ее бранил и корил; ел картофель, пил цикорий, — и поил им кухарку, безответную и послушную. Мясо покупал он только для кошки, в месяц по фунту, и она от этого страшно мяукала, и когда мяукала и жалобно смотрела в его глаза, прося говядинки, и терлась около него, подняв хвост строкою, он гладил ее, называл ее Машей, а говядинки все-таки не давал. Все богатство его состояло в стенных часах, с гирями на веревках, и от нечего делать он посматривал на эти часы, как будто интересуясь, который час. Но околела кошка, за кухаркой прислал муж из деревни, часы давно уже стали и развалились. Старичок остался один, осмотрелся, пожевал губами и продал за два гроша на толкучий свои три провалившиеся стула, ломберный стол, с которого он давно уже придумал содрать сукно, чтоб употребить его на внутреннюю подкладку халата, но не употребил, а, пожевав губами, бережно сложил и спрятал в свой узелок. Продал он и часы и — отправился проживать по углам. По углам, за ширмами он спал, ел картофель, уменьшая каждый день его количество, трепетал и боялся, недоплачивал денег и, не заплатив, переезжал в другие углы, чтоб не заплатить потом

и там. И сколько раз, может быть, бедная немка, его хозяйка, в папильотках и грязная, приставала к нему, чтоб он отдал ей хоть один грош своего долгу. Он только ахал и охал, говорил ей о благочестии, о долготерпении и милосердии, крестил себе рот и засыпал тревожно и с дрожью, чтоб кто-нибудь не узнал его тайны, чтоб хозяйка не проведала… И зачем он ходил в Максимилиановскую лечебницу! Зачем ему было лечиться? Для чего ему была жизнь? И предчувствовал ли он, что все его полмиллиона поступят на хранение в Управу благочиния? Впрочем, его тело хотели вскрывать, увериться, что он был сумасшедший. Мне кажется, что вскрытием не разъясняются подобные тайны. Да и какой он был сумасшедший!

Я вошел в Гостиный двор. Под арками кишела толпа людей, сквозь которую даже трудно было пробиться. Все это покупало и запасалось на праздники. Под арками же преимущественно продавались игрушки и стояли готовые елки всех сортов, и бедные и богатые. Пред грудой игрушек стояла одна толстая дама с лорнетом и с лакеем в какой-то невозможной ливрее. Даму сопровождал курносый и чрезвычайно потертый молодой человек. Дама щебетала и выбирала игрушки;

в особенности ей понравилась фигурка в синем мундире и красных панталонах.

— C'est un Zouave, c'est un Zouave, — пищала дама, — voyez, Victor, c'est un Zouave; car enfin il a… enfin c'est rouge; c'est un Zouave![7]

И дама с восторгом купила зуава.

Недалеко от них, у другого вороха игрушек, в толпе покупателей стояли господин и госпожа и долго выбирали, что бы купить, чтоб и хорошо было и подешевле. Последнее, кажется, очень занимало господина.

— Посмотри, душенька, ведь щелкает, — говорил он своей подруге жизни, показывая ей деревянную пушечку, которая действительно щелкала. — Смотри, видишь — щелкает!

И господин несколько раз щелкнул перед глазами своей озабоченной барыни. Но той хотелось игрушку получше; она с недоумением смотрела на пушку.

— Лучше бы вот хоть эту куклу, — сказала она, безнадежно указав на нее пальцем.

— Эту куклу? гм… — проговорил господин. — Отчего же, душенька, смотри — ведь щелкает?

Его нахмуренное раздумье, серьезное, озабо-

---

[7] Сноски: 7

Это зуав, это зуав, посмотрите, Виктор, это зуав; ведь у него… ведь это же красное; это зуав! (*фр.*)

ченное каждым гривенником лицо свидетельствовало, что деньги доставались ему не даром. Он не решался и, с нахмуренным видом, молча, продолжал щелкать из пушечки. Я не знаю, что они купили. Я продолжал пробираться сквозь толпу, преследуемый памятью Шиллера, продаваемою мальчишками, к которой присоединился теперь и Виктор-Эммануил. Изредка в толпе слышался робкий голос ребенка, украдкою просившего милостыню.

— Милостивый государь, извините, что осмеливаюсь вас беспокоить…

Я оглянулся. За мною следовал один господин, в форменном пальто, которого я подозреваю выгнанным из службы. Иначе быть не может. Они все ходят потом в форменных пальто, особенно бывшие под судом. Это господин вершков девяти росту, с виду лет тридцати пяти и родной братец Ноздреву и поручику Живновскому, в фуражке с красным околышком, с отвратительно свежим цветом лица и с необыкновенно тщательно выбритою физиономией, до того открытой и «благородной», что при взгляде на нее у вас рождалось непреодолимое желание плюнуть прямо в эту физиономию. Я его знаю; он уже мне не раз встречался на улице.

— Преследуем несчастьем. Сам давал по пятнадцати целковых нуждавшимся. Милостивый государь… с вашей стороны… если смею надеяться…

Не одного этого господина, дававшего по пятнадцати целковых нуждавшимся (надо было бы узнать, сколько он содрал с других нуждавшихся?), я встречал на петербургских улицах. Или мое такое несчастье, или я имею какое-нибудь особенное свойство на них натыкаться. Я помню еще одного господина, тоже в форменном сером пальто, необыкновенно чистом и новом, с великолепнейшими бакенбардами и с благородством лица неизобразимым. Это лицо сияло здоровьем, белые руки блестели чистотою. Он придрался ко мне на немецком языке, вероятно, чтоб не компрометировать себя перед «публикой»; я не знал, как отстать от него. Такого бесстыдства я никогда еще не встречал… А какие бы из всех этих попрошаек вышли славные накатчики насосов или работники на железных дорогах! что за сила, что за здоровье! Но — благородство препятствует! И какие, должно быть, они были в свое время дантисты…

Но встреча с пальто отвратительно благородной наружности напомнила мне другую встречу

летом, в августе месяце. В тот день я имел две встречи; одна из них произвела на меня премиленькое впечатление. Я проходил по Фонтанке мимо одного барского дома. У подъезда стояла щегольская двуместная карета. Вдруг швейцар отворил двери, и из них вышла молодая и изящная парочка. Дама, одетая пышно и богато, прехорошенькая и премолоденькая, порхнула в карету, за нею вскочил господин, еще очень молодой человек, в блестящем военном мундире, и только что лакей успел захлопнуть дверцы, молодой человек впился поцелуем в губки хорошенькой дамочки, которая с наслаждением приняла его ласку. Я разглядел всю эту мгновенную сцену сквозь стекло кареты. Они меня не приметили; карета рванулась, а я расхохотался, стоя на тротуаре. Не было сомнения, что это «молодые», делавшие визиты. Супруги после медового месяца в каретах не целуются.

Часов в пять пополудни того же дня я проходил по Вознесенскому проспекту. Вдруг я услышал за собой робкий, слабый голос; я обернулся — передо мной стоял мальчик лет двенадцати или тринадцати, с миленьким и добрым личиком, смотревший на меня просящим и стыдливым взглядом. Он что-то говорил, но голос

его прерывался и немного дрожал. Одет он был бедно, но очень чисто, в летнем легком пальто, в фуражке, но в довольно худых сапогах. Старенький шелковый галстучек был аккуратно повязан у него на шее. По всему было видно, что он принадлежал к семейству бедному, но честному и видавшему лучшие дни. И видно было, что этот галстух повязала ему сама маменька или старшая сестрица. Воротнички его довольно толстой рубашки были очень чисты. Манеры мальчика были просты и вежливы. В усталом лице его было много благородного, искреннего выражения.

— Извините меня, что я вас беспокою, — сказал он. — Будьте так добры, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь… — Проговорив это, он слегка покраснел.

Я отступил на шаг от удивления. Так странною показалась мне его просьба.

— Но кто же вы? — проговорил я в недоумении, — и как это вы… просите. Я, право, не ожидал.

— Меня утром послали папенька и маменька к нашим родным на Петербургскую сторону. Они думали, что я там могу обедать. Но там… я не мог обедать, долго ждал и теперь иду домой; я очень

устал, и мне очень хочется есть…

— А где вы живете?

— У Смольного монастыря… Дайте мне шесть копеек, вот тут в лавочке есть пироги, я в окошко видел; эти пироги по шести копеек, я куплю пирог и отдохну в лавочке, а там опять пойду…

К счастью, у меня в кармане был четвертак, и я отдал его бедному мальчику.

— Скажите, кто же ваши родители? — спросил я.

— Папенька сперва служил, — отвечал мальчик, — и я ходил в гимназию. Нас четверо, сестер и братьев. А как папенька нынешнего года потерял место, я уж и не хожу в гимназию; жалованья нет, и мы теперь… очень бедны…

Вся история в нескольких словах.

Очень бедны, очень бедны!

Бедность, конечно, факт… ну, положим так — исключительный, спорить не будем. Ведь есть же и богатые, и достаточные люди; у них есть дети, милые, умные, воспитанные; им покупают зуавов, и зуавы, может быть, не помешают им быть очень хорошими людьми со временем… Ведь у нас чрезвычайно все это странно; по неизвестному какому-то закону делается, а должен же быть закон; ведь по законам же действует при-

рода и живет человек. А между тем все-таки странно. Из мужицкой семьи выходит вдруг поэт, да еще какой; из специального заведения — мыслитель! И потому я покоен за встреченного мною мальчика. Он не пропадет; жаль, конечно, его отца, но он как-нибудь приютится, найдет себе место, обойдется. Вероятно, он уже человек законченный. К тому же ведь и не без маленьких же несчастий на земле; да и не он один, не так ли? Но все-таки невыносимо, когда — ну хоть невольно — подумаешь, сколько грустного цинизма, сколько тяжелых впечатлений вынесет этот мальчик из своего детства. И не отразится ли этот цинизм в его нравственном развитии? А если отразится, то чем? отвращением ли к этому цинизму или одним из тех примирений, которые губят душу навеки? Этот уже мальчик учился, он уже многое понимает; он краснеет и стыдится. Он честен и уже мыслил, потому что несчастие учит мыслить, да иногда и слишком рано. Что? как же отзовется ему потом его случайное нищенство? Будет ли он вспоминать этот день с отвращением и содроганием или обратится в дармоеда в отставке, в форменном пальто и с отвратительно благородной наружностью? Но… успокоимся; к чему совершенно бесполезные

вопросы? Бедность всегда исключение; все живут и живут кое-как. Общество не может быть все богато; общество не может быть без случайных несчастий. Не правда ли? Я вам даже могу рассказать одну повесть чрезвычайно оригинальной и даже очень грациозной бедности. Но эту повесть я оставлю к концу моего фельетона. Прибавлю только, что если б все были — ну хоть только богаты, то было бы крайне однообразно, к тому же бедность развивает человека, учит его иногда добродетели… не правда ли? Если б на свете везде пахло духами, то мы бы и не ценили запаха духов. О Кузьма Прутков, прими сей афоризм в число знаменитых фраз, изреченных твоею мудростию! Но не о Кузьме Пруткове я намерен теперь говорить. Я хочу сказать два слова о нашем Новом Поэте именно по поводу бедности. Он описывает в своем последнем фельетоне безумную петербургскую роскошь и… бедность — не в Петербурге, но на Петербургской стороне, близ Смольного монастыря, и вообще на оконечностях, что, как известно, уже не Петербург. Но упоминая о бедности, он извещает, что дороговизна петербургской жизни начинает возбуждать некоторые заботы в петербургцах, в людях благонамеренных и вообще

в тех гражданах Петербурга, которые в состоянии что-нибудь сделать. Он приводит, например, слух об учреждении Комитета народного здравия, в котором, за исключением докторов, будут заседать представители городских сословий, фабриканты и ремесленники. Конечно, этот комитет что-нибудь скажет и будет действовать наиполезнейшим образом, да и вообще это прекрасная мысль. Мы любим комитеты и уважаем их. Посмотрите на Комитет литературного фонда: как много он сделал для пользы литераторов, с какой необыкновенной быстротой приумножает свой капитал, как деятельны все его члены, как заметна для всех их деятельность! Вот уже новый год, а уже было одно публичное чтение в пользу нуждающихся литераторов и ученых. Уже составилось, успело состояться. А ведь чтения — важная вещь. Чтения — один из главнейших доходов Литературного фонда. Сколько принесли они прошлого года денег! Кроме Комитета для народного здравия была еще речь одного инженера, г-на Васильева, о которой тоже упоминает Новый Поэт и которая, впрочем, появилась особой брошюрой. Г-н Васильев излагает свой взгляд на современное состояние вопроса об улучшении Петербурга и обращает

тоже внимание и на дороговизну петербургской жизни. Да, на это можно обратить внимание; это даже стоит того. Говорят, что в Петербурге нельзя теперь тратить меньше полуторы тысячи рублей серебром, а меньше тысячи для семейного человека почти уже бедность. Где же взять тысячу рублей? Конечно, если б я был Иваном Александровичем Гончаровым, я бы написал каких-нибудь полтора печатных листика, так, чего-нибудь вроде отрывка (каждая крупица высокоталантливого человека драгоценна), — и вот уж у меня и тысяча серебром. Но ведь не все же Иваны Александровичи Гончаровы! Наконец, Новый Поэт упоминает и об мыслях г-на Лаврова в Пассаже… Ах, извините! это уже не для улучшения Петербурга. Это так, для философии. Что ж? и философия может ведь послужить к улучшению. Она украшает ум, дает ему разные мысли, ну и прочее, и все остальное. Я вообще ужасно люблю, когда Новый Поэт говорит, например, о философии, об искусстве… и вообще про добродетель. Правда, его слова об искусстве, по поводу мыслей г-на Лаврова, немного… как бы это сказать — ну, хоть немного удивят г-на Лаврова, тем более что Новый Поэт обращается к нему с вопросом: как он об его словах думает? Но ведь

нельзя же человеку знать все, всю подноготную; судить обо всем одинаково удовлетворительно; ведь иногда и ошибается человек. Повторяю: не будь разнообразия, было бы очень скучно. Почему ж лишить этого разнообразия и Нового Поэта? Напротив, ему именно надо пожелать некоторого разнообразия, хотя мы все-таки читаем его с величайшим удовольствием, даже и в теперешнем виде, и, получая «Современник» — единственный русский журнал, в котором все статьи можно читать с любопытством, — мы всегда разрезываем прежде всего Нового Поэта и г-на — бова.

В спорах голосисты,
Смелы невпопад,
Эти публицисты
Скоро замолчат.
Будут жить для целей
Мелкой суеты, –
И опять камелий
Станешь петь нам ты.

Не соглашаюсь! Совершенно не соглашаюсь! Это стихотворение как-то случайно попалось ко мне, и я нечаянно его затвердил; но — не со-

глашаюсь! Конечно, всякий может иметь свои мнения. Можно не соглашаться с г-ном — бовым, но, мне кажется, я бы умер со скуки за его статьей, если б он хоть насколько-нибудь изменил характер своих указов, отдаваемых им по русской литературе:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
В статьях Дудышкина есть чары,
И поучительны от прозы до стихов
Литературные базары,
Есть упоение в софизмах Гымалэ,
Есть перлы в омуте журналов,
Мил Войскобойников, сбирающий во мгле
Большую серию скандалов.
Я это все люблю, но ты, о критик – бов,
Для сердца ты всего дороже!
Не мысля, я скажу – ты выше всех умов,
Подумая – скажу я то же.
Ты можешь критикой вознесть иль погубить,
Тобою горд журнальный лагерь,

И равный силами с тобой лишь может быть

Один Конрад Лилиеншвагер.

Но, кроме г-на — бова я люблю и Нового Поэта, даже больше, чем г-на — бова. Меня всегда возмущало, что его считают родоначальником литературных скандалов. Не верю и не хочу верить. Имя его в литературе до сих пор безукоризненно и честно. Еще давно, чуть не в детстве моем я начал читать Нового Поэта. Я всегда любил воображать наружность поэтов и прозаиков, которые произвели на меня впечатление. Но, странное дело, я никак не мог добиться увидеть портрет Нового Поэта. Я отыскивал его между портретами г-на Краевского, г-на Старчевского, вообще между портретами всех русских деятелей слова и мысли, изданных г-ном Мюнстером и которых уже издано теперь, может быть, до ста лиц, и никак не мог отыскать в их числе Нового Поэта. Но довольно о Новом Поэте. Меня еще, пожалуй, обвинят в пристрастии. Я ведь заговорил о нем, собственно, по поводу одной оды, будто бы написанной петербургскими камелиями; чего не сочинят праздные люди! Вот эта ода:

Ода петербургских камелий новому поэту

Золото, роскошь, уборы алмазные
Вкруг рассыпаются нас,
Ездим мы в оперы – пышные, праздные,
Всем богачам напоказ.
Жемчуг, кораллы, с нарядами редкими,
Лошади, упряжь карет –
Все это дал нам своими «Заметками»
Новый Поэт.
Все мы – Шарлотты, Армансы, Амелии –
Прежде не знали тех благ;
Было в презрении имя камелии,
Мы утопали в долгах;
Вдруг улыбнулось нам счастье алмазами,
Принял с восторгом нас свет,
Лишь о камелиях вышел с рассказами
Новый Поэт.
Стал рисовать он с особой любовию
Невских гетер идеал.
Вспрянули старцы с вскипевшею кровию,

Круг молодежи восстал.
Золото в грудах снесли наши пленники,
Бедности минул и след.
Как подносил нам венок в «Современнике»
Новый Поэт.
Пусть враг прогресса, развития женского,
Дерзкий аскет нас клянет –
Новый Поэт от хулы Аскоченского
Юных камелий спасет.
Пусть публицист занят делом Италии,
– бов порицает весь свет, –
Вновь воспоет наши плечи и талии
Новый Поэт.
Ты, увлечен благородною целию,
Наш воспевал идеал,
И на пирах за то каждой камелией
Пит твой заздравный бокал.
Если ж стезю твою литературную
Кончишь ты в старости лет, –

Все мы почтим тебя мраморной урною,

Новый Поэт.

Шутка, милая шалость! но совершенно неправдоподобная; во-первых, ни одна из камелий не станет сочинять стихи. Вообще все подобные произведения грешат своею неправдоподобностию, хотя тем самым становятся безобидны. Так, например, известная эпиграмма в прозе на г-на Краевского, помещенная в прошлогодней «Искре», если припомните, читатель, упоминала еще о г-не Перейре, г-не Дудышкине и сенсимонистах. Совершенно неправдоподобная эпиграмма! Кстати, о г-не Краевском: в одном из прошлогодних объявлений об издании «Отечественных записок» в шестьдесят первом году сказано, что отделом критики будут заведовать с будущего года г-да Дудышкин и Краевский. Это объявление произвело некоторый говор, как и известная статья в «Отечественных записках» — «Литература скандалов»; меня даже просили уведомить публику, что объявление о будущих критиках г-на Краевского должно считать самым важным и самым назойливым литературным скандалом за весь прошлый год. По-моему, это уже слишком

сильно. Не так ли? Почему же г-ну Краевскому не написать хорошей критики? Он редактор «Энциклопедического лексикона». Он уже с лишком двадцать лет издает журнал. Если он до сих пор не написал, то еще нельзя сказать, что он не напишет. А впрочем, мне кажется, что известие о будущей критической деятельности г-на Краевского не совсем справедливо. Спешу оговориться: может быть, я ошибаюсь и, во всяком случае, с нетерпением буду ждать выхода номера «Отечественных записок» с статьей почтенного редактора. Но мне все-таки кажется, что г-ну Краевскому теперь не до русской литературы; у него и без того много дела. Кроме серьезного дела, у него на плечах сорок будущих томов «Энциклопедического лексикона». Кроме «Энциклопедического лексикона», нужно поднять «Отечественные записки», сделать их поживее, посовременнее, расшевелить заснувший журнал, не то, пожалуй, не будет подписчиков… Не до литературы ему теперь!

Но несмотря на то, что ему теперь не до литературы, я, чтоб окончить о г-не Краевском, все-таки скажу, что считаю его лицом весьма полезным русской литературе, и говорю это совершенно серьезно. Если он и не писал почти

ничего в продолжение всей своей литературной деятельности, то умел зато издавать журнал. Теперь это сделалось легче, но прежде было даже и очень нелегко. Журналы получили теперь у нас высокообщественное значение, и г-н Краевский, как издатель журнала, действительно, много тому способствовал. Он взглянул, между прочим, на журнал с коммерческой точки зрения (как и следовало сделать во времена г-на Краевского); в этом чувствовалась настоятельная потребность, и, положительно можно сказать, он первый придал издательскому делу серьезную деловитость коммерческого предприятия и необыкновенную аккуратность. Укажут на «Библиотеку для чтения», скажут, что она явилась прежде «Отечественных записок» и издавалась тоже с аккуратностию, неслыханною до того в русской журналистике. Сознаюсь, что первый шаг важнее всего, но зато и второй шаг имеет, может быть, совсем не меньшее значение. Успех первого шага объясняют иногда случайными обстоятельствами, но успех второго шага окончательно оправдывает дело. Он доказывает всем не только возможность, но и устойчивость, но и зрелость дела. Аккуратностию и точностию своего издания г-н Краевский приучил публику

верить в стойкость литературных предприятий, и эта уверенность ободрила публику и размножила подписчиков. Если г-н Краевский мало сделал как литератор, то сделал довольно как общественный деятель. Ему, как аккуратнейшему из издателей, и поручили теперь издание «Энциклопедического лексикона». Но г-ну Краевскому всегда мало одной (и опять-таки чрезвычайно важной) заслуги; он объявляет, что хочет писать критики. С богом! Но если г-ну Краевскому вздумается, напр‹имер›, напечатать от своего имени в газетах письмо, и в этом письме он станет объяснять меру своего участия в издании «Энциклопедического лексикона», скажет, что он принял на себя всю нравственную ответственность за статьи будущего лексикона; что он будет читать статьи по всем отраслям знания — философии, естественных наук, истории, литературы, математики; что он будет исправлять, сокращать и дополнять эти статьи по мере надобности; то тогда нам простительно будет хоть подивиться. Это будет даже уж слишком неловко. Вот это-то и насмешит, вот это-то и окомпрометирует! Я думаю, если б сам Бекон издавал «Энциклопедический лексикон» с такой ответственностию, то и тот насмешил бы публику. Нельзя же все знать,

все науки на свете! Нельзя же все уметь делать. Шекспир был великий поэт, но построить Петра в Риме он бы не взялся. А г-н Краевский даже и не Шекспир…

Но, боже мой, куда я увлекся! Я все забываю, что я фельетонист! Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Надобно писать о новостях, а я пишу об «Энциклопедическом лексиконе». Новостей! новостей! А теперь к тому же самое шумное время, середина зимы, Рождество, Новый год, праздники, святки; святки! Кстати: помните ли вы стихотворение:

Перекресток, где ракитка
И стоит и спит…
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.
Кто-то крадется сторонкой,
Санки пробегут…
И вопрос раздастся звонкой:
– Как тебя зовут?

Один из петербургских мечтателей уверял меня, что тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного петербургского поэта и что будто бы в Петербурге оно должно непременно

перефразироваться в такие стихи:

Переулок, где Фонтанка
Мерзлая стоит…
Против лавочки шарманка
Жалобно хрипит.
Кто-то крадется за будкой;
Фонари горят…
И вопрос раздастся чуткой:
Кто идет? – Солдат!

Это стихотворение сентиментального мечтателя. А вот стихотворение другого мечтателя, мечтателя-прогрессиста, мечтателя-деятеля, или деятельного мечтателя:

Прогресс и ум во всем в нас видны.
Все наши страсти холодны,
Мы в увлечениях солидны,
Мы в наслаждениях скромны.
За ближних мы стоим горою,
Но, чтя Вольтера и Руссо,
Мы кушать устрицы порою
Не забываем у Дюссо.
Доходных мест, больших протекций

В душе не смея разлюбить,
На чтении публичных лекций
Талант мы рады поощрить;
На пикнике, в разгаре спора,
Полиберальничать слегка,
И, быв в восторге от Сюзора,
К нему заехать с пикника.
Нас занимают виг и тори,
Рим и парламента азарт;
Мы дружно хлопаем Ристори
В «Медее», «Камме» и «Стюарт».
Нас равномерно занимает:
Как изменил свой план Кавур
И что Каткову отвечает
В «Ведомостях Московских» Тур,
Что сталось с Ицкой, нашим Крезом,
Что говорил с трибуны – бов,
И как с привозным ut'diez-ом
В последний раз пропел Кравцов
Средь благородного собранья,
Меж танцев – толк у нас один,
Что стоит гласного изгнанья

Из всех журналов Беллюстин.
Мы признаем, что развращает
Людей невежество и тьма,
Из нас никто уж не читает
Ни Кушнерева, ни Дюма.

Служа для высших в жизни целей,
Мы все тайком со всех сторон
Содержим в роскоши камелий
И разоряем наших жен;
Проводники идей известных,
Мы о гуманности кричим,
И щедро в пользу школ воскресных
Поем и пляшем и едим.
Мы строим планы и гримасы,
Мы строим куры и дома –
И все в пределах новой расы,
Прогресса, такта и ума.

Но бог с ними, с мечтателями! Ристори… Но все-таки прежде Ристори надо бы упомянуть о памятнике, который будет наконец воздвигнут Пушкину в саду бывшего Александровского лицея; все-таки надо бы сказать хоть о книго-

продавческой теперешней деятельности, хоть о воскресных школах, которые размножаются с такой быстротою; хоть об изданиях, предпринимаемых собственно для народного чтения. Наконец, надо бы достать, хоть из-под земли, какую-нибудь особенную, интереснейшую новость, еще неизвестную или малоизвестную другим фельетонистам, чтоб пощеголять перед ними; но… но я все это оставляю до другого раза! О памятнике я скажу подробнее, когда его воздвигнут; о книгопродавческой деятельности скажу в своем месте. О воскресных школах мы намерены поместить особенную статью; об изданиях, предпринимаемых для народного чтения, — тоже. Что же касается до новости, никому не известной, то я непременно обещаюсь ее добыть для следующего фельетона, если только меня не предупредят. Остается теперь только одна Ристори…

Но, господа, мне кажется, что вы уже столько прочли о Ристори, столько слышали о Ристори, что вам наконец надоело читать об этом. Разумеется, не надоест смотреть на Ристори, и мы вот что думаем: мы лучше наглядимся сперва на нее, во всем ее репертуаре, во всем, что она намерена играть в Петербурге, и тогда… И тогда мы дадим

вам о ней подробный и окончательный отчет. Итак, и об Ристори кончено. До свидания, господа, до следующего раза. Тогда я, может быть, еще что-нибудь увижу во сне, и тогда… Но до свиданья!

Ах, боже мой, и забыл! Ведь я хотел рассказать мой сон о грациозной бедности. Ведь я обещался рассказать этот сон в конце фельетона. Но нет! я и его оставлю до будущего раза. Уж лучше все вместе. Каков рассказ будет — не знаю, но история, уверяю вас, интересная.

Н. Бестужев
Шлиссельбургская станция
1860
Истинное происшествие

(Посвящено А. Г. Муравьевой)
Одна голова не бедна, А и бедна – так одна.

(Старинная пословица)

Несколько лет тому назад мне надобно было съездить из Петербурга, по делам матери моей, в Новую Ладогу. Когда я совсем собрался, она позвала меня в свою комнату, повторила все наставления, слышанные мною уже несколько раз, и потом прибавила: «по окончании дел в Ладоге, как я тебе сказала, ты должен заехать к нашим соседям Н. и С. …Я хочу того: во-первых, потому, что дома наши связаны старинной дружбою, во-вторых, что у обоих милые дочери и достойные невесты. Может быть, судьба укажет тебе на которую-нибудь из них, и ты составишь себе такую партию, какую бы я хотела для тебя. Ты знаешь всегдашнее мое желание — видеть тебя женатым: я возрастила и воспитала тебя

в надежде нянчить моих внучат. Ты старший в семействе, тебе уже тридцать два года, и до сих пор, по какому-то непонятному для меня упрямству, ты не слушаешь моих советов, не устроишь своей судьбы, не осчастливишь меня исполнением любимой моей мечты — видеть в тебе продолжение нашей фамилии. Берегись холостой старости; я не уважаю старых холостяков!» Мать моя плакала, говоря эти слова; я отвечал общими фразами, что час мой не настал, что я еще не встречал той, которую бы избрало мое сердце, обещал внимательно рассмотреть предлагаемых ею невест, и мы вышли в зал, куда собралось все наше семейство.

Почтовая тройка стояла у ворот; чемодан был вынесен; я стал прощаться и думал, поцеловавшись со всеми, сесть на тележку и ехать, но должно было заплатить дань старине. Меня посадили, мать и сестры сели, мальчик, ехавший со мною, был также посажен, даже горничная, вбежавшая сказать, что извозчик торопит, подпала той же участи: «садись», — сказала ей повелительно матушка; девушка осмотрелась кругом, взглянула на матушку, как будто желая выразить, что ей совестно сидеть с господами, но при новом приказании села на пол, удовлетворяя в одно

и то же время и господскому приказу, и рабской разборчивости. Несколько минут продолжалось благочестивое молчание, потом все встали и, оборотясь в передний угол, помолились висевшему там распятию. Матушка благословила меня, шепнув, чтоб я не забыл ее советов, простилась, дала поцеловать руку моему мальчику, и я, обняв сестер, спрыгнул с лестницы, вскочил на тележку и исчез, посылая поцелуи рукою в ответ белым платкам сестер, махавшим из окошек.

Итак, меня посылают выбирать невесту! Матушка серьезно хочет меня женить; но об этом надобно подумать, да подумать поскорее; в самом деле, в мои лета не надо долго размышлять, а в дороге об чем же и думать?

Но если б спросили меня, что я думал дорогою? — я бы отвечал: ничего! На почтовой тележке не так-то ловко размышлять: того и смотри, чтоб не вылететь из повозки. Осенняя погода покрывала меня, дождь и ветер крепче закутывали в шинель, и я чаще повторял ямщику: «пошел».

За мной остались Пелла и Славянка; я уже подъезжал к Шлиссельбургу, но как человек, служивший на море и редко имевший случай ездить сухим путем, особенно в русском почтовом экипаже, очень чувствовал разницу между

сухопутным и водяным сообщением, хотя в настоящем случае я имел бы право сказать, что еду по морю грязи, сопутствуемый прыжками, толчками и ухабами. Налево изредка только открывалась сердитая Нева, катившая быстро свои волны, или какая-нибудь дача, заставлявшая меня высовывать нос из шинели. Мне хотелось полюбоваться каким-нибудь видом, но дождь закрывал все отдаленные предметы, а ранняя осень обезобразила все картины, обнажив почти деревья; желтые листья, сорванные ветром, неслись с дождем, перегоняя мою повозку. Наконец, избитый и мокрый, не отдохнув взором ни на одном предмете, я увидел Шлиссельбург! Мы въехали в город, и, странное дело! первый предмет, привлекший мое внимание, был аист, свивший гнездо свое на трубе почтового дома. Он стоял и важно поглядывал кругом, как будто обозревая небосклон и замечая, с которой стороны очистится небо, чтобы судить о будущей погоде, может быть, для задуманного им путешествия. Я в первый раз увидел эту птицу в наших северных странах и спросил у извозчика: водятся ли эти птицы здесь? «Нет, барин, прежде не видать было, — отвечал он, — а эта уже четвертый год, каждую весну здесь выводит детенышей и улета-

ет осенью на теплые воды. Дивлюсь, что она еще здесь, ей давно пора лететь». — Она умнее меня и не хотела пуститься в дальний путь в такую скверную погоду, — сказал я, слезая у почтового дому с повозки и стряхивая шинель, с которой текла вода ручьями!

Станционный смотритель равнодушно объявил, что лошади все в разгоне, и как я ни представлял обыкновенных крайностей путешествующих, он отвечал обыкновенными резонами почтовых смотрителей, обещая лошадей не ранее как через час. И действительно, несмотря на мое нетерпение, ровно час прошел, пока возвратились лошади. Я стоял у окна и смотрел, как их перепрягали в мою повозку. Дождь не переставал; крупные капли стучали в окна и лились ручьями по стеклам. Бедные животные, уже пробежавшие свой урок, должны были вновь заучивать его со мною; пар подымался столбом с их осунувшихся боков, которые раздувались, как мехи, от усталости; они стояли, опустя головы, и потряхивали ушами, когда дождевые капли туда попадали. Колокольчик на дуге издавал унылые звуки; не менее того он производил на меня приятное впечатление, предвещая, что я скоро сяду и покачусь после скучного ожидания.

Но человек предполагает, а бог располагает: послышался другой колокольчик, и вскоре карета, запряженная в шесть лошадей, а за нею повозка прискакали к станции. Минута ранее — и я бы уехал; теперь это было невозможно, потому что проезжий был сенатор Баранов, ездивший в некоторые губернии помогать жителям, умиравшим с голоду от неурожая, — и, следственно, мои и еще какие-то лошади были запряжены в карету его превосходительства, а я снова остался горевать в ожидании.

Сенатор вошел в комнату, вежливо поклонился, завел разговор о нашей морской службе; рассказывал о поручении, ему сделанном, и очень скромно похвалился, что из данных ему трех миллионов на вспоможение он не истратил ни копейки. Когда же перепрягли карету, он с большою деликатностью извинился, что отнял у меня лошадей, и уехал.

Исчезла и моя надежда на скорую отправку. Все лошади, сытые и голодные, повезли сенатора, а мне-то что делать? Прежде я ждал как проезжий, теперь остался как жилец. Пришлось знакомиться с своею квартирою и хозяевами. От нечего делать я начал осмотр: небольшая комната была разгорожена надвое; передняя

служила и присутственным местом, и спальней смотрителю; в ней у одной стены стояла кровать, у другой под окном — стол; у разгородки изразцовая лежанка выдавалась, вроде русского очага, на половину для проезжих, где и мебель была незамысловатее: кроме софы, нескольких дубовых стульев с кожаными подушками и стола, стояла в одном углу кровать с ситцевыми занавесками, в другом — шкаф, из-за стекла которого видно было несколько фарфоровых чашек разной фигуры, с ручками и без ручек, склянки с лекарствами, помадная банка с солью, штоф с какой-то жидкостию, где плавало несколько ягод рябины, опрокинутая рюмка без ножки и полдюжины медных ложек и ложечек в прорезях на полочках. По стенам развешано было несколько картинок, над столом зеркало и деревянные часы. Я со скуки пересмотрел все эти редкости, прочел все надписи на картинках, из которых одна только строчка стихов под портретом Кутузова осталась в моей памяти: Кутузов приими не лестный света глаз![8]

Что это, не намек ли.

---

[8] Сноски: 8

Этот портрет гравирован известным художником Карделли. Его же гравирования есть два эстампа: путешествие Екатерины по России и восшествие на престол Александра I.

Начинало смеркаться; я велел внести мою шкатулку и подать чаю; подойдя к окну, я рассматривал, сколько позволяла погода, представлявшуюся мне картину. Чрез домы на противоположной стороне улицы проглядывали по временам, сквозь дождь, стены и башни Шлиссельбургского замка, поставленного на острове посреди Невы, при самом ее истоке из Ладожского озера… Полосы косого ливня обрисовывали еще мрачнее эту и без того угрюмую громаду серых плитных камней; влево Нева терялась за домами; вправо озеро глухо ревело, переменяя беспрестанно цвет поверхности, смотря по силе порывов и густоте дождя, — и я в первый раз дал свободу своим мыслям, которые до сих пор сдерживались или толчками, или ожиданием. Какое-то грустное чувствование развивалось во мне при виде этих башен. Я думал о сценах, которых стены были свидетелями, о завоевании Петра и смерти Ульриха, — о вечном заключении несчастных жертв деспотизма. Мысли невольно останавливались на последних: может быть, думал я, много страдальцев гниет и теперь в этой могиле. Сколько человек, мне известных, исчезли из общества, и тайна их участи осталась непроницаемой. Но за какие преступления, за что,

по какому суду осуждаются они на нравственную смерть? Все, что относится до общества и его постановлений, до частных людей и сношений их, ограждено законами; преступления против них публично наказаны; но здесь лица бессильны, преступления их тайны; наказания безотчетны, и почему?.. Потому что люди служат безответною игрушкой для насилия и самоуправства, а не судятся справедливостью и законами. — Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества? Когда же это общество, строящее здание храма законов, потребует отчета в законности и Бастилии и Шлиссельбургов и других таких же мест, которых одно имя возмущает душу? Люди! Люди! Вы привыкли сами спутывать себя узами, вы привыкли носить цепи; властелины ваши знают это и накладывают на вас новые тяготы; вы думаете, что этому так быть надобно. Горе вам, если вы этому не верите. В таком настроении духа я сел за чайный столик.

Выдумка чая прекрасная вещь во всяком случае; в семействе чай сближает родных и дает отдых от домашних забот; в тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай,

гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе; кажется, что кипящий напиток согревает сердца, располагает к веселости и откровенности. Старики оставляют подозрительный вид и делаются доверчивее к молодым; молодые становятся внимательнее к старикам. В дороге чай греет, в скуке за ним проводишь время. Одним словом, самовар заменяет в России камины, около которых во Франции и Англии собираются кружки.

Чтобы составить кружок, я пригласил к чаю смотрителя и его жену. Хозяйка, которой наряд состоял в повязке на голове и камлотовой юбке, принимая мое приглашение, набросила на плечи черный шелковый платок и скинула головную повязку, чтобы показать, что она не из простых, а носит косу с воткнутым в нее роговым гребнем. Она пила чай вприкуску; после четырех чашек с крайнею учтивостию опустила назад в сахарницу обгрызок сахара, оставшийся от ее экономных зубов.

— Давно ли вы здесь на станции? — спросил я смотрителя.

Он хотел отвечать, но как в эту минуту он только что хлебнул горячего чаю, то ответ его выразился одним невнятным звуком и потом

кашлем. Словоохотная хозяйка предупредила его: «О зимнем Миколе, батюшка, будет восемь лет, как мы попали на это место, и восемь лет мыкаем горе на этой станции; тракт малоезжий; купечество ездит на долгих или на наемных; а кроме купцов только офицеры да фельегари».

— Куда же ездят эти фельдъегери?

Смотритель хотел было отвечать, но жена перебила, и несмотря, что он кивал головою, раза два крякнул, она продолжала:

— Куда? Прости господи! Не ближе и не далее здешнего места… Разве, разве что в Архангельск; да туда пусть бы их ехали с богом, а то не пройдет месяца, чтобы не привезли в эту проклятую крепость на острове какого-нибудь бедненького арестанта.

— И вы видаете этих арестантов?

— Куда тебе! Нет, родной, никогда не видаем. Приедут всегда ночью и прямо на берег, не заезжая сюда. Я бегала не раз на реку, да только и видела, что повозку; жандармы и близко не подпускают; фельегарь крикнет с берегу — с крепости зарычат каким-то дивным голосом; приедет катер: сядут, поедут, и бедняжка как в воду канет. Только поутру, как снег на голову, наскочит подраться, да побраниться, да уехать,

не заплатив прогонов…

— Что же у вас говорят, как живут арестанты?

— Что говорят, родимый! И бог весть каких страстей не рассказывают — а все мы досконально не знаем. Съезжают оттуда солдаты, да редко; и на тех человечья виденья нет: худы, да тощи, да бедны, — и они, бедняжечки, там на затворе. Спросим, ничего не говорят; а станем пытаться, так я не раз видела, как иного дрожь возьмет, а все толку не добьешься. Видно, что страшно.

— Ваше высокоблагородие, — начал, закашляв, смотритель, — это… — но жена не дала ему кончить и прервала снова, по почти шепотом: — Говорят, что там тюрьмы как колодцы: ни свету божьего, ни земли, ни воздуху; душно как в могиле; каждый сам по себе, и ни встать, ни сесть, ни лечь. Есть подают в окошечко, и бедняжечка не слышит никогда ни голоса, не видит ни лица человечьего: только он да часовые кругом.

— Стало быть, их мучат, их убивают прежде времени?

— Нет, батюшка, мучить не мучат и убивать не убивают, а говорят: что уж коли надобно кого сжить со бела света, так закопают по уши в землю, да и оставит умирать своею смертию.

Сколь ни нелепы были рассказы хозяйки, но,

откинув преувеличения, откинув то, что относилось к мучениям физическим, достаточно быть похороненным заживо в этом гробе, чтобы с нравственными страданьями намучиться, умирая своею смертию.

Я встал из-за чая в неприятном расположении духа, спросил о лошадях и на отрицательный ответ начал ходить по комнате; здесь мне впервые после выезду пришло в голову желание матушки, чтоб я женился. Странное сцепление идей! Но в этом случае мысль, перебегая, с предмета на предмет, невольно обращалась к тем, которых лишение было бы последствием исполнения печальных моих предчувствий. «Матушка хочет этого, — думал я, — это естественно; я сам чувствовал пустоту в сердце, мне чего-то недоставало, даже в кругу милого мне семейства, между достойных моих сестер и братьев. Я думал об этом, когда страсти мои волновались сильнее, когда каждая девушка казалась мне идеалом совершенства, я думал и выбрал; но судьба похитила у меня избранную; смерть разлучила нас. С тех пор воображение сделалось прихотливее, вкус разборчивее, чувства не так пылки. Я создал новый идеал и равнодушно смотрел на женщин, сравнивая их с моею мечтой. За всем тем,

безумный! я еще думал жениться! Теперь я вижу яснее, что не могу располагать собой, не могу связать судьбы своей с избранной мною подругой жизни!..»

«Я собственность благородного предприятия; я обручен особым союзом — и так могу ли я жениться? Стоя на зыблющемся волкане, захочу ли я привлечь к себе подругу, избираемую для счастия в жизни нашей, чтобы она, не зная бездны под ногами своими, вверилась мне и вверглась вместе со мною в пропасть, ежеминутно готовую раззинуться».

Так я рассуждал, а между тем дождь усиливался, ветер свистал в окошки, на дворе стало совсем темно, а лошадей все еще не было. Наконец я решился остаться ночевать, несмотря на свою скуку, потому что ехать ночью, в такую погоду, еще скучнее. Зажгли свечи, я открыл шкатулку; со мною было английское Стерново «Чувствительное путешествие»; я развернул книгу и сел читать: как нарочно, открылось то место, где Стерн говорит о Бастилии:

«...я представил себе все жестокости заключения. Мое сердце было расположено к этому, и я дал полную волю воображению.

Я начал миллионами мне подобных, но находя,

что огромность картины, сколь она ни была разительна, не позволяет приблизить ее к глазам и что множество групп только развлекали меня, я представил себе одного заключенного, запер наперед его в тюрьму, потом остановился посмотреть сквозь решетку двери, чтобы срисовать его изображение.

Я увидел, что тело его исхудало и высохло от долгого ожидания и заключения; я чувствовал, как сильна сердечная болезнь, рождаемая отлагаемой надеждой. Посмотрев пристальнее, я заметил, что он был бледен и истомлен лихорадкою. В тридцать лет восточный ветер ни разу не освежил его крови. Он не видал ни солнца, ни месяца во все это время — и ни однажды голос друга или родного не проникал сквозь эту решетку; его дети…

Но здесь мое сердце облилось кровью, — и я принужден был приступить к другой части моего изображения.

Он сидел в углу на небольшом пуке соломы, служившей ему вместе и стулом и постелью. В головах лежал род календаря из маленьких палочек с заметками печальных дней и ночей, проведенных им в темнице. Одна из этих палочек была у него в руках; он царапал на ней ржавым

гвоздем новую заметку еще одного дня бедствия в прибавку к прежним — и как я заслонял последний свет, доходивший до него, — он поднял безнадежные глаза на дверь, опустил их, покачал головою и продолжал свою горестную работу. Я слышал звук цепей, когда он поворотился, чтобы положить палочку в связку с другими. Он тяжело вздохнул; я видел, что это железо въедалось в его душу, — я залился слезами и не мог выдержать долее зрелища, созданного моим воображением...»

Боже мой, в двадцатый раз читаю я это место, но еще впервые оно так на меня подействовало! Рассказ хозяйки, картина Стерна, задержка лошадьми, собственные предчувствия... мне кажется, что Шлиссельбург уже обхватывает и душит меня, как свою добычу. «Так, — сказал я сам себе шепотом, боясь, чтобы меня не подслушали. — Я имею полное право ужасаться мрачных стен сей ужасной темницы. За мной есть такая тайна, которой малейшая часть, открытая правительству, приведет меня к этой великой пытке. Я всегда думал только о казни, но сегодня впервые явилась мысль о заключении».

Долго я ходил по комнате, приучая воображение к тюремной жизни, страшно проявлявшейся в разных образах предо мною; наконец фантасма-

гория моих мыслей прояснилась, припомнив, что года три или четыре назад, познакомясь с комендантом Шлиссельбургской крепости, я отвечал на зов его к себе в гости, что постараюсь сделать какую-нибудь шалость, за которую провинность доставят меня к нему на казенный счет. Тогда я еще не имел в виду цели, которая могла бы оправдать мою шутку.

Я сел снова к столу, взял лист бумаги, чертил на нем разные фигуры, карикатурил знакомые лица, читал опять Стерна, писал на него сентенции, свои мысли; рисовал узника в темнице, чертящего на палочке заметку, думал о желании матушки, вставал, ходил, наконец погасил свечу и, скинув сюртук, бросился в постель, чтоб уснуть; но сон бежал моих глаз, — я только что вертелся с боку на бок.

В другой комнате хозяйка лежала нераздетая на своей кровати и храпела; супруг ее сидел за столом и читал вслух четьи-минеи, и это чтение имело усыпительное действие на хозяйку: как скоро он понижал голос или переставал читать, чтобы понюхать табаку из стоявшей подле него берестовой тавлинки, она переставала храпеть, начинала шевелиться или совсем просыпалась. Я сначала думал, что расстанов-

ки в чтении делаются неумышленно; однако, взглянув в висевшее над столом зеркало, в котором отражался мой хозяин, увидел, что каждая остановка сопровождалась покушением встать. Но как скоро он замечал, что любезная его половина просыпалась, он садился снова и начинал читать громче прежнего. Наконец после многих опытов, когда убедился, что чтение подействовало как следует, тогда, сняв очки и спустив туфли, он на цыпочках вошел в мою комнату, посмотрел, сплю ли я, отворил шкаф, взял безногую рюмку, налил в нее из штофа водки, выпил, отломил корочку хлеба, посолил, съел и отправился тем же порядком на свое место. Та же комедия начиналась снова: жена по временам просыпалась, делала кой-какие вопросы, он отвечал чтением и таким образом сходил в шкаф в другой и в третий раз; но после этого бодрость его, видимо, увеличилась: он перенес к себе весь штоф, положил подле себя хлеб, воткнул в него безногую рюмку и начал попивать, закусывать, читать нараспев, икать и заикаться при житии Иоанна Постника.

Меня занимало праздничанье этого доброго человека; по крайней мере при бессоннице лучшего нечего было делать. Изменническое зеркало

передавало мне верно все наслаждения и все забавные страхи хозяина. Наконец он заснул в очках на носу над книгою, а я предался снова мечтам, снова думал о женитьбе, потом о намерении никогда не жениться, а между тем какой-то женский идеал носился в моем воображении против моей воли и занимал меня до 10 часов.

В это время между порывом бури послышался колокольчик. Через несколько минут застучали по мостовой колеса, раздался на крыльце крикливый женский голос, и вслед за тем передняя комната наполнилась людьми. Я различал женские и мужские голоса; зеркало передавало мне мимолетные черты, потому что люди шевелились, переходили с места на место, но я не мог никого рассмотреть. Хозяйка вскочила; смотритель проснулся, встал и, опершись на стол руками, повторил обыкновенный свой напев: «Ло-ошадей не-т-с!»

Тоненький и светлый женский голос, который приятно отозвался в моем ухе, отвечал ему, что они едут на своих и остановились поправить карету, испортившуюся от дурной дороги. Тот же голос приказал слуге поспешить поправкой, чтобы скорее ехать вперед.

— Помилуйте, Любовь Андреевна, — вскрикнул

другой женский голос, не перестававший лепетать ни на одно мгновение, — я говорила, что по эдакой дороге нельзя ехать. Песок, дождь, слякоть, ветер; мудрено ли, что карета изломалась. Я говорила, что лучше бы остаться нам за Черною; я говорила, что придется нам здесь маячить; так уж лучше хорошенько здесь отдохнуть и со светом пуститься в дорогу. Я говорю, что ночью худо починивать карету, когда ни зги не видно, а ветер задувает свечи даже в каретных фонарях. Я говорила, что это преставление света.

— Любезная Анисья Матвеевна, мы здесь ночевать не будем; вам же все равно в карете, — идет ли дождик, или светит месяц. Вы там сухи и спите, кажется, покойнее, нежели в постеле.

— Господи боже мой! покойнее, нежели в постеле! да вы спросите, — как у меня души не вытрясло из тела? Я говорила, что с вами не сговоришь. Говорила я, что эти молодые барыни не хотят слушать ни разума, ни совета; да по крайней мере, отдохните и успокойтесь хоть минуту, а то я говорю вам, что вы приедете в Питер на себя не похожи.

— Я не устала и не хочу отдыхать, я спокойна только буду в Петербурге. Ложитесь вы и не сердитесь, когда разбужу вас чрез полчаса, — ве-

роятно, карета в это время будет готова.

Толстая женщина лет сорока, довольно неприятного вида, вошла ко мне в комнату, ворча, со свечою. Я не намерен был уступать этой даме на полчаса постели и потому притворился сонным, избегая необходимости вставать, надевать сюртук, рассыпаться в учтивостях, тогда как мне покой был нужнее, чем тем, которые ехали в карете. Анисья Матвеевна подошла прямо к кровати; увидев меня, ахнула, перекрестилась с испугу, но, разглядев человеческий образ, начала употреблять воинские хитрости, чтобы выжить меня из позиции. Она говорила очень громко, кашляла, встряхивала перед моим носом свой салоп, так что брызги летели на меня, но ничто не помогало. Я лежал закрыв глаза. Я внутренне смеялся ее отчаянию.

Между тем другая дама вошла также в комнату и, увидя хлопоты своей спутницы, сказала ей потихоньку, что ей не для чего на полчаса беспокоить, вероятно, усталого проезжего и что ежели она хочет спать, то может лечь на софу.

Крикливая моя неприятельница удалилась к софе, бормоча, подложила себе разных свертков и узелков в голову, легла и, разговаривая и по временам повторяя: я говорила, я говорю, — за-

снула.

Пока она возилась, молодая приезжая дама стояла, оборотясь к ней и наконец, когда та улеглась, взяла свечу и подошла к зеркалу, чтоб скинуть свою дорожную шляпу, чепец, и поправить — я не знаю что: женщины находят и в дороге средство заниматься своим туалетом, — я увидел в зеркале — боже мой, что я увидел! Черты такие, в какие всегда я облекал мою мечту, мой идеал красоты и прелести, который только что носился перед моими глазами! Когда она скинула чепец, густые кудри волос рассыпались по всему лицу, закрыли глаза и щеки; надобно было привести их в порядок: они уложены были за уши, и открытая физиономия показала мне лет двадцати двух женщину. Она была немного бледна — это могло быть с дороги, — впрочем, эта бледность была совершенно к лицу и задумчивому выражению глаз.

Локоны были убраны, свечка поставлена на стол, и молодая незнакомка начала ходить по комнате с сложенными руками и опущенною головою. Первый раз в моей жизни выражение женской физиономии сделало на меня такое впечатление. Со мною что-то сталось необыкновенное; я тысячу раз жалел, что не встал и не

уступил места воркунье Анисье Матвеевне. Теперь, думал я, каким образом встать? как без замешательства явиться в полуодежде? как извиниться и к чему я теперь все это сделаю? — Все это было очень неловко, и я продолжал лежать с полузакрытыми глазами, боясь проронить малейшее движение милой путешественницы.

Она была в черном платье. Почему, думал я, это дорожное платье, но не вдова ли она? В эту самую минуту непослушные локоны рассыпались опять, и снова надобно было поправить их. Тут увидел я на левой ее руке одно только узенькое золотое кольцо — это верно вдова, сказал я сам себе.

На столе, куда она положила свою шляпу и чепец и теперь становила опять свечу, была открытая моя шкатулка; подле нее открытый Стерн, листок бумаги, исписанный и измаранный во всех направлениях, и, наконец, моя подорожная. Это обратило внимание незнакомки; она села — взглянула на книгу, на меня, потом взяла ее, посмотрела заглавие, бросила на меня любопытный взгляд, как бы желая узнать — что это за оригинал, читающий такую старину? Я не изменял своей роли — лицо мое было полузакрыто рукою, чтобы ловче было видеть, не давая по-

дозрения, что гляжу обоими глазами. И так она, придвинув к себе свечу, начала читать Стерна.

Стало быть, она знает по-английски?

Стерн открыт был на том самом месте, где я оставил чтение, заметив карандашом на поле: «Ужасно!» Незнакомка поднесла книгу ближе к свечке, чтоб рассмотреть это замечание, оборотила листок и начала с описания скворца, который бился в клетке своей, повторяя слова: «я не могу вырваться, я не могу вырваться», и, наконец, дошла до картины узника. Я видел только в зеркало ее лицо и замечал, как мало-помалу выражение его помрачалось, как останавливались глаза, трепетали ресницы и две крупные слезы блеснули, отражаясь свечою; обе эти капли упали на книгу. Я видел, как незнакомка испугалась, вытирала эти капли платком и сушила их своим дыханием. С тех пор я не расстаюсь со Стерном!

Мне пришла в голову странная мысль. Я глядел в зеркало, как девушка на святках, гадающая о суженом, и видел там только лицо незнакомки. Что, если эта мечта, этот видимый образ есть ответ на мое гаданье, если… если, это моя суженая?..

Незнакомка положила книгу, оперлась головою на руку и печально смотрела перед собою;

по временам навертывались новые слезы. Измаранный лист лежал вместе с книгою, карандаш подле. Это, конечно, значило, что читавший марал его и делал заметки при чтении. Путешественница подвинула к себе в рассеянии листок, но, как бы опомнясь, поспешно положила опять на место. Не менее того, я заметил, что он обратил ее внимание. Я видел, как глаза ее перебегали с фигуры на фигуру, со строчки на строчку; кажется, она хотела убедиться в незначительности бумаги. Наконец она встала, взглянула на меня, прошлась по комнате и, сев снова, взяла листок. На самом верху у меня было написано: «Узник Стерна еще ужаснее для того, кто читает его здесь в Шлиссельбурге. Воображение этого писателя ничего не значит перед страшною истиною этих мрачных башен и подземельев!»

Кажется, эта простая фраза пробудила воспоминание, ибо дала понятие о том, что неясно представлялось воображению незнакомки. Она подняла голову, посмотрела рассеянно перед собою и потом как будто какая-нибудь идея подстрекнула ее любопытство; она быстро встала, подошла к окну, приложила обе руки к вискам, закрывая посторонний свет, и, как бы усиливаясь проникнуть мрак ночи, старалась разглядеть

башни замка. Но там ветер и дождь увеличивали темноту осенней ночи; она отошла, сказав: «Боже мой, какая темнота!», опять села и потом, занятая своею мыслию, в рассеянии прибавила довольно громко: «Да это я слыхала!»

Лицо незнакомки было печально, она сидела, задумавшись, напоследок взяла опять измаранный лист, поворачивала его во все стороны, смотря по тому, как карикатуры, головки, цепи, набросанное изображение узника Стернова были нарисованы, и потом глаза ее остановились на следующем: «Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил с твердостию — но чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною что хотят, пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места, где бы не было бога, где бы можно было отнять мою совесть, — я буду спокоен сам за себя. Если же за мной останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием, — горесть его ляжет на мою душу, на совесть, и потому, нося в груди тайну, готовясь с разгадкой ее к новым несчастиям, я не могу — я

не должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастия!..»

Незнакомка опустила лист, облокотилась и, казалось, размышляла о написанном.

Меня очень занимала эта немая сцена; при сцеплении обстоятельств самых обыкновенных она сделалась для меня совершенно романическою. Буря бушевала, дождь стучал в деревянную крышу, в которой некоторые доски, давно оторванные ветром, хлопали наперерыв со ставнями, ветер завывал в щелях, так что пламя свечи колебалось на все стороны, и между тем как хозяин и хозяйка в другой комнате спали крепким сном, прихрапывая под завыванье бури, мы с незнакомкой бодрствовали; любопытство в сердцах обоих было возбуждено.

Развернутая подорожная была брошена прямо перед незнакомкою. Она обратила на нее взоры, — слабый свет не позволял ей читать в таком отдалении. Любопытство и нерешимость боролись в ее прекрасных чертах. — «Возьми, милая незнакомка, — думал я, — здесь твое сомнение не может тебя беспокоить: это официальная печатная бумага, которую читает каждый смотритель; почему же тебе не узнать моего имени?..» Она, конечно, думала то же, взяла подорожную,

прочла мое имя и вдруг обернулась ко мне с видом какой-то неожиданности, как будто желая удостовериться в моем тождестве с написанным именем.

Рука моя была отнята от лица. Путешественница взяла свечу, начала осматривать картинки по стенам и всякий раз, когда полагала, что свеча выгодно освещает меня, поворачивала ко мне свое прекрасное личико; но неверный свет и отдаление мало ей помогали. Она желала увериться, сплю ли я, и потому, поставив свечу на стул так, чтоб лицо мое было освещено, начала ходить взад и вперед, шевеля стульями, ступая на те половицы, которые более скрипели, — я не просыпался. Казалось, она убедилась в моей летаргии — взяла опять свечу, подошла к картинке, висевшей у самой кровати, потом оборотилась ко мне и неожиданно встретила мой взор — я глядел на нее во все глаза.

Медузина голова, я думаю, не произвела бы подобного действия, незнакомка оцепенела: как рука ее вытянулась со свечою, как она начала поворот, как ротик ее открылся в изумлении, как она закрыла рукою свои глаза — все это так и осталось! Я не мог удержать усмешки, встал, взял из рук свечу и подвел незнакомку

к оставленному стулу. Она села в совершенном замешательстве, с лицом, закрытым рукою. Я накинул сюртук и сел напротив. Восемь лет тому назад я еще не испытал тех несчастий, которые провели по лицу моему глубокие борозды, потушили огонь глаз, изредили волосы, усыпав остальные сединою, и сделали стариком сорокалетнего человека, — и потому не думал, что испугалась моего безобразия. Я видел, что ей совестно своего любопытства.

— Какая ужасная погода, сударыня, — сказал я, сам не зная, чем прервать это неприятное для нас положение.

— Извините, что я так неучтиво разбудила вас, — сказала незнакомка, не подымая на меня глаз.

— Но я совсем не спал, сударыня! — Я хотел этим ответом уменьшить вину, в которой она сознавалась, но увеличил ее замешательство: она покраснела, скоро поправилась и отвечала улыбаясь: «Так это значит, что вы подсматривали за беспечною женщиной, которая думала быть одна или, что все равно, со спящим человеком».

— Я имел на то полное право; я боялся за свою собственность. — Я сказал это, указывая на карикатуры, намаранные по всему листу.

Незнакомка улыбнулась, подняла на меня свои большие глаза и сказала: «Это правда, тут видно и ваше душевное богатство, и то, что вы не любите ни с кем делиться им». Она провела пальцем под строками последнего замечания на листе, где говорилось, что я не хочу делить ни с кем своих несчастий.

Я смешался в свою очередь, однако кое-как отвечал:

— Не верьте людям, сударыня: часто их богатство состоит только в пышных фразах. Я собственным опытом убежден, что часто человек, выдававший за час неизменным правилом свои слова, не в состоянии отвечать за себя, может ли повторить их теперь с тою же уверенностью.

Мы замолчали оба. В эту минуту вошел слуга путешественницы и сказал, что он только сейчас нашел кузнеца, который, осмотрев карету, обещался исправить ее через час.

— Я думала, ты пришел мне сказать, что карета уже готова?

— Если бы не эта погода, сударыня, конечно, мы бы уехали ранее; но ни один из этих мошенников ни за какие деньги не хочет разводить огня в кузнице. Этого одного только застал я за работой у горна.

— Хорошо, друг мой, постарайся же кончить скорее. — Слуга поклонился и ушел.

Это явление подало мне повод спросить у незнакомки, откуда она едет, — и мало-помалу мы узнали друг о друге достаточно, чтобы разговаривать о Петербурге, дороге, погоде и тому подобном, перемешивая это, время от времени, новыми вопросами; наконец, через четверть часа я узнал, что прекрасная путешественница недавно овдовела, была замужем только два года, спешит из Ярославля в Петербург к своей матери и что говорливая спутница взята ею для компании в дороге. Доверенность некоторого рода установилась между нами. Незнакомка хотела всячески оправдать свое любопытство. Она рассказала мне, что знакома с моим другом В., который много говаривал обо мне, что она посещала некоторые дома, куда я также вхож, и что, наконец, мои литературные произведения были ей известны из альманахов и журналов. «Я была убеждена, — продолжала она, — прочитав ваше имя в подорожной, что вы тот самый, который написал об удовольствиях на море».

Нельзя было не согласиться с убеждениями прекрасной женщины, что мои добродетели, о которых ей говорили, и даже литературная

известность возбудили ее любопытство. Не менее того, я благодарил ее, что она читала эти мелочи и помнила их. Это была большая редкость для женщин в том и в другом случае.

Между тем ветер ревел сильнее и пронзительнее, окна дрожали, в комнате было очень холодно, незнакомка куталась в свою шаль, но это не помогало; я, несмотря на то что мало думая о тепле или холоде, начал вздрагивать; мне пришло в голову развести огонь на очаге, который выступал в нашу комнату; я сообщил свое намерение путешественнице, и она охотно согласилась со мною, что огонь в эту пору и в такую погоду очень кстати. Я вышел в комнату хозяйки, разбудил ее, объявил свое желание и после некоторых противоречий, что там никогда не разводят огня и проч., я велел мальчику, там спавшему, положить дров, открыть трубу и затопить. Все это было устроено, и в пять минут мы сидели с незнакомкой у небольшого огонька.

Здесь рассказал я в свою очередь, почему ночую на станции: описывал бурю, дождь, холод, выгоды теплой комнаты и, очень естественно, кончил советом не ехать в такую дурную погоду; я думаю, продолжал я, что Анисья Матвеевна говорила правду, советуя вам оставаться здесь

ночевать.

— Она очень убедительно говорит, но я этого не могу сделать. По последнему письму, полученному от матушки, и по почерку руки я заключила, что она нездорова, и потому дорожу каждою минутой.

— В таком случае отдаю полную справедливость вашему желанию и отступаю от совета; но не менее того, кажется, я говорю справедливо: что плохой огонь в камине приятнее хорошего дождя в дороге.

— Не совсем, особенно при обстоятельствах, сопровождающих мою остановку. Это завывание ветра неприятно в самом деле: послушайте, как страшно гудит в этой трубе; в дороге слышишь только крапанье дождя в крышу кареты. При том же близость этих башен пробуждает какую-то тоску; я проезжала несколько раз Шлиссельбург, и никогда мне не приходило в голову слышанное прежде, что в этом замке есть много несчастных, томящихся в заключении, но теперь… — она оглянулась на окно и, как будто боясь, чтобы ее кто-нибудь не подслушал, отодвинула стул свой. Это движение, удалив ее от окна, приблизило ко мне; она продолжала вполголоса: — Теперь я чувствую это соседство. Ваш

листок, ваш Стерн вдруг развернули во мне воспоминание. Мне стало грустно, мне стало страшно! Здесь все располагает к каким-то грустным впечатлениям!.. Вы ничего не слыхали? — вдруг спросила меня, оторопев, незнакомка.

Мне показалось самому, что посреди рева стихий какой-то пискливый, жалобный голос простонал вблизи нас. Я прислушивался, но не слышал более ничего, кроме монотонного храпенья хозяев, заглушаемого стуком кровли и барабанным боем дождя в окошки. «Это ветер, — сказал я, — переменяет свои аккорды в трубе и щелях!»

— Станется, а может быть, это дух какого-нибудь страдальца, — сказала шутливо незнакомка, стараясь ободриться от своего страха, — здешние ужасы действительнее радклиффовских.

— Вы, конечно, боитесь духов и привидений? — спросил я в том же тоне.

— Не умею вам отвечать на это; мне никогда не случалось испытать своей отважности, но я чрезвычайно люблю страшные повести, рассказы, даже сказки о домовых, и в это время чувствую какой-то страх, который не менее того мне приятен. Я не верю этим вещам по рассудку, но, получив с детских лет наклонность к чудес-

ному от моих тетушек и нянюшек, неохотно расстаюсь с верою моего воображения, которое часто заставляет забывать невозможность призраков и тому подобного. Вы, господа мужчины, по большей части не имеете предрассудков и не верите привидениям: но зато вы лишаете себя большого наслаждения при рассказах, которые иногда так приятно волнуют нашу душу!

— Мужчины гораздо больше имеют способов и случаев поверять свои впечатления и чувствования. Особенно военная служба приучает нас ко всем действительным и воображаемым ужасам. Со всем тем, я знавал людей, достойных уважения по уму, храбрости и благоразумию, которые втайне жертвовали многим предрассудкам и вере в чудесное. Что касается собственно до меня, отец мой в малолетстве приучал меня ничего не бояться; сверх того, я тринадцати лет пошел в море и, следственно, должен был бросить все страхи, которые могли оставаться от детского возраста. В зрелых годах я имел случаи испытать, как неосновательны бывали слухи о чудесном, как они растут, переходя из рук в руки, и даже недавно обязанность по службе заставила меня выгонять домового из одного дома в том городе, где я жил.

— Выгонять домового по службе? — это очень странно, это очень любопытно. Если б я не боялась быть нескромною — впрочем, первый шаг к этому сделан, чтобы вы считали меня такою, — сказала она, краснея и улыбаясь, — я бы просила вас рассказать, как это случилось?

— Точно по службе, сударыня, и я охотно расскажу вам это, но только думаю, что рассказ человека, который сам не верит домовым, не доставит вам удовольствия. Вы любите впечатления чудесного: это впечатление может быть передано только тем, кто сам их ощущает. Мой рассказ будет прост.

— Нужды нет, лишь бы в происшествии было б что-нибудь неспроста.

Я положил в огонь дров, снял со свечи и шутя заметил незнакомке, что в самом деле наше положение, час ночи и все окружающие обстоятельства очень благоприятствовали страшным рассказам. Время от времени весь дом будто тряся от порывов ветра, иногда, напротив, несколько секунд слышны были даже удары маятника в деревянных часах, висевших на стене; потом буря ревела вновь и снова раздавался храп пьяного смотрителя и тучной его половины. Затем я начал:

«В 1819 году, в Кронштадте, где я служил, разнеслись слухи, будто в квартире одного купца домовой начал беспокоить постояльцев. Сперва узнали об этом соседи, потом начали многие толковать о проказах домового; наконец, весь город был на ногах, и квартира купца оказалась сборным местом любопытного и праздного народа, который божился, что видел — то, слышал — другое и что домовой действительно завладел жилищем бедного купца. Всего страннее было, что этот домовой не походил на других: он делал все каверзы днем и показывал свои фокусы пред всею публикою, которая сбегалась с любопытством и разбегалась с ужасом и рассказами во все концы города о страшном духе и его шалостях. Квартира эта была в доме народного училища, где верхний этаж был занят школою; а внизу в одной половине жил учитель, другую занимал несчастный купец с своим семейством. Учитель, как ближайший сосед и как человек просвещенный, всех скорее и всех вернее мог исследовать причину несчастия купеческой квартиры и, вследствие собственного очевидного удостоверения, отрапортовал в Петербург в Департамент народного просвещения, что на сих днях во вверенном ему доме училища завелся домовой,

которого хотя он лично не видал, но шалости его так явны и беспокойны, что он решился, из опасения последствий, довести это до сведения высшего начальства и просить о помощи и покровительстве.

Пока рапорт ходил в Петербург, суматоха в доме увеличивалась. Сперва этот домовой, как и всякий другой из его собратий, довольствовался тем, что ночью сдергивал со всех одеяла или прятал платье хозяйки, щипал за нос и за бороду хозяина, сек розгами сына — лет одиннадцати мальчика, и щекотал служанку — лет четырнадцати девочку, заставляя ее хохотать благим матом, и после пропадал с петухами; но это было вначале; потом ночь за ночью проказы его увеличивались, наконец, самый дневной свет и все петухи, которых у купчика было до десятка, не могли прогнать его. Он кидал из-за темной перегородки поленьями, стучал в окошки, прижимал в дверях любопытных посетителей; сбивал с них шапки, насыпал песку в рукавицы. Иногда взорам изумленных прохожих представлялись чудесные явления: вдруг квашня, стоявшая на прилавке, начинала прыгать, качаться и со стуком падала на пол, и когда пугливые зрители отскакивали прочь от расплывшегося теста, у одного кафтан

был прибит гвоздем к двери, у другого носовой платок, выскочив из кармана, вздирался по стене до потолка, будто живой. В другое время заслонка в русской печи дрожала, как в лихорадке, и под музыку ее дрожанья горшок с кашею сам выдвигался из печи, каша высовывалась из горшка, а за нею вываливалось множество ложек. Такое страшное зрелище поражало ужасом всех присутствующих; все бросались вон, а домовой, как сказывали они после, провожал их камнями, песком, а что всего хуже: обморачивал так, что они никогда не могли попасть в настоящую дверь с первого раза, а если и попадали, то она захлопывалась сама собою и непременно придавливала беглеца.

Такие происшествия и толки народа дошли до полиции. Пристав той части отправился сам свидетельствовать с своею командою навожденный дом. Несколько человек смелых посетителей, которых не мог еще выгнать домовой и которые при всем страхе дожидались каких-нибудь новых ужасов, испугались полиции более, нежели духа, и убежали. Двери заперли, поставили часовых; в доме осталась одна хозяйка с семейством и частный с городским унтер-офицером. Частный важно сел в кресло и начал расспрашивать

хозяйку.

— Расскажи мне, любезная, — сказал он суровым голосом, — что за проказы делаются у тебя в доме?

Хозяйка стояла перед ним, утирая передником заплаканные глаза: «Не знаю, батюшка, за что бог послал такое наказание нашему дому. Вот уже третьи сутки и днем не стало нам покоя: с утра до вечера плачу и не знаю, как пособить горю. Муж стал со страху пить пуще прежнего, ребятишки голодны от того, что с этим навождением — буди с нами крестная сила! — нельзя ни спечь, ни сварить. Ты прибираешь здесь, а нечистый — господи прости мое согрешение — работает по-своему там; ты пойдешь туда, а он очутится здесь. Видимо делает, а видом — не видать; ужас берет до чего-нибудь дотронуться: во всем его проклятая сила... Мати божия!..» Хозяйка остановилась и закрыла глаза передником, дрожа от страха, потому что в эту минуту под самым потолком, над головою частного, послышалось шорканье кофейной мельницы. Пристав взглянул наверх и в ту же минуту закрыл также глаза: оттуда сыпался молотый кофе; шорканье перестало.

Хозяйка выглядывала из-за передника, горо-

довой неподвижно стоял у дверей, частный, побледнев, верно с досады, бросился на другой стул.

— Где же у тебя более всего беспокойно? — спросил он с приметным движением.

— Сказать не могу, батюшка; из всего дома гонит, но больше в двух комнатах: вот за этой перегородкой и там, в темной кухне.

— Надобно осмотреть это, Лоботрясов, — сказал частный городовому.

— Во власти вашей, — отвечал тот, — извольте осматривать.

Пристав хотел подняться со стула; хозяйка начала рассказывать разные подробности о проказах домового. Надобно было выслушать все обстоятельно, и всякий раз, когда частный пристав хотел вставать, являлись новые случаи страшнее первых, и частный опять садился. Видно было, что желание исправности в исполнении долга боролось с желанием узнать все подробности дела. Хозяйка старалась всячески удовлетворить последнему и рассказывала истории одна другой ужаснее; время проходило, частный уже потерял охоту вставать; наконец городовой раскрыл свой безмолвный рот.

— Надобно осмотреть, ваше благородие, — ска-

зал он.

— Осмотри, Лоботрясов.

— Да что же я без вашего благородия сделаю? пожалуйте и вы; ваше дело подвластное, мы не можем без командира.

— Да я должен выслушать от хозяйки еще кое-что, ведь это все к делу.

— Пора с рапортом, ваше благородие.

Частный встал нерешительно, велел Лоботрясову идти вперед; правая его рука что-то шевелилась за пазухою под мундиром; хозяйка сзади крестилась.

Дверь в роковую кухню была отворена, городовой вошел довольно смело, обернулся на все стороны. «Ничего нет, ваше благородие, — сказал он, выходя проворно из другой двери; частный вошел — и вдруг двери за ним запахнулись, слышно было, как он пыхтел, и чрез несколько секунд он выскочил из противоположных дверей весь обсыпанный мукою; маленький рогожный кулек висел у него сзади на пуговке, как ключ у камергера.

— Пойдем с рапортом, Лоботрясов, — вскрикнул частный и выбежал на улицу, но он неверно рассчитывал на свои силы: дошедши до дому, он сделался очень болен и должен был послать пись-

менный рапорт к полицмейстеру с городовым.

Итак, домовой продолжал свои шутки, слухи о том дошли до высших сословий общества; много порядочных людей шли осматривать навожденный дом. Инженерный полковник был из числа любопытных; с ним случилось едва ли не хуже, чем с приставом: домовой загонял его в темной кухне, и когда на жалобные стоны некоторые решительные люди осмелились посмотреть, что с ним сделалось, то увидели его на столе в углу: он держался или, лучше сказать, повис рукою на гвозде, вбитом в стену для маленького медного образа; одна нога была поднята, с другой стащена ботфорта до половины, обе шпоры были потеряны. Его насилу могли отцепить — так замерла рука, — и это был новый, обращенный в бесовскую веру».

В эту минуту раздался громкий звук в другой комнате; незнакомка, слушавшая меня со вниманием, вздрогнула. «Что это?» — спросила она с беспокойством.

Я встал, заглянул в двери и отвечал: «Это хозяйка уронила с ноги туфель, сколько я могу рассмотреть при нагоревшей свече. Она спит, нераздетая, на своей кровати». За этими словами последовал такой сильный порыв ветра, что весь

дом затрясся; в то же время послышался опять глухой, жалобный и тонкий голос.

Незнакомка побледнела — глаза ее безмолвно спрашивали меня.

— Это ветер, это дух бури воет в трубе, — сказал я, смеючись, и сел, поправляя огонь.

— Мы часто в море, — продолжал я, — слышим музыку страшнее этой; снасти мачт в бурю представляют настоящую эолову арфу, рев ветра в толстые канаты и свист его в тонкие веревочки составляют совершенную гармонию со скрипом корабля и шумом волн.

— В самом деле, я думаю, что это ветер, — отвечала она, оправляясь. — Прошу вас — продолжайте вашу историю.

«Итак, домовой занимал весь город; одни рассказывали его чудеса, другие этому смеялись. В это время военный губернатор, вследствие учительского рапорта, о котором у нас никто и не знал, вдруг получил из Петербурга отношение, где спрашивалось — что такое сделалось с домом и какой домовой овладел им? Полициймейстер был болен, один частный захворал, как я уже сказал, другой был в отлучке, а низшие чиновники решительно объявили, что они скорее оставят службу, чем будут принимать какие-нибудь меры

против домового.

Губернатор прежде смеялся этой истории, но когда получил отношение, надобно было узнать обо всем подробнее. Мне случилось в то время быть при нем. Он позвал меня. Инженерный полковник и несколько полицейских офицеров были у него и с клятвою уверяли о достоверности случая; полковник рассказывал про свое несчастие.

Губернатор спросил меня, смеючись, не боюсь ли я чертей, и на мое отрицание велел мне выгнать из дому домового.

Я отправился осмотреть хорошенько дом, и когда пришел в купеческую квартиру, нашел там несколько посторонних и священника с причетом, которого хозяин решился позвать как последнее средство для изгнания нечистой силы.

Священник сидел, разговаривая о том; хозяйка перечисляла ему все обстоятельства, все случаи, прихожие подтверждали собственным свидетельством; дьячок зажег лампаду перед образом, налил воды в тарелку для окропления, поставил свечи; наложили углей в кадило, повешенное на гвозде подле стола, — я замечал кругом.

Наконец священник приступил к служению

молебна и начал словами: «Благослови, боже, нас всегда ныне и присно и во веки веков», но только он это выговорил, пламя в лампаде высоко поднялось и угасло с треском; священник остановился, приметно смешался, но велел зажечь ее снова и продолжал службу. Когда же между пения он произнес окончание молитвы «превеликое имя твое, спасе, на небеси одесную отца седящу ти почитается, на земле же неизреченное твое воплощение ставится; во аде же сошествие бесы устрашает; от них же и нас избави Христе боже и спаси нас», дьячок в эту минуту, раздув угли, подал ему кадило, и только священник взял его в руки — вдруг оно вспыхнуло, будто порох, угли выбросило вон; на тарелку с водою посыпался песок, несколько поленьев полетело из-за перегородки в предстоящих — священник отскочил от ужаса»…

Вдруг из трубы нашего очага посыпался на огонь также песок; мы встали — я смотрел вверх… пронзительный визг раздался — и вдруг с шорохом и шумом что-то покатилось по трубе, упало на огонь и засыпало его; облако пыли и золы покрыло нас, угли разлетелись по комнате… незнакомка вскрикнула и упала без чувств мне на грудь…

В первую минуту я не знал, что думать о случившемся, но через несколько мгновений увидел посреди кирпичей и соломы, в дыме курящихся головешек, стоящего аиста, чье гнездо я видел на трубе при въезде в Шлиссельбург. Анисья Матвеевна спросонья крестилась обеими руками, сидя в страхе на софе. Хозяйка прибежала, остановилась в дверях, раскрыв рот и размахнувши руками от удивления и ужаса. Я держал бесчувственную незнакомку в руках.

Сердце мое билось, сильно билось! — я потерялся совершенно; вместо того чтобы отнести незнакомку на кровать, сам не знаю, каким образом сел на стул и легонько опустил ее на колени. Голова ее лежала на моей груди, в которую какой-то электрический ток лился жгучими струями; я вдыхал в себя благовоние ее волос; чувства мои разделялись между состраданием и удовольствием… О, как милы трусливые женщины!

Я тер виски, легонько колотил по ладоням незнакомки, и прежде нежели хозяйка и Анисья Матвеевна опомнились — она пришла в себя.

Бледность обморока уступила место живой краске, когда она увидела свое положение и стоящих около нее женщин; я помог ей, когда она сделала движение встать; но в ту же минуту

должен был посадить снова на стул. Глаза ее обратились на причину испуга, и она со страхом увидела огромную птицу, которая величественно посреди очага глядела с изумлением на около стоящих. Я объяснил ей, что гнездо, свитое над трубою, не могло выдержать силы ветра и дождя и что бедная птица, обеспокоенная сверху бурею, снизу жаром и дымом, провалилась к нам сквозь широкую трубу.

Анисья Матвеевна начала ахать и рассказывать, что она говорила; хозяйка, ворча, хотела взять несчастного аиста и выбросить на улицу — но незнакомка заступилась. «Пусть он останется с нами, — сказала она, — если несчастье заставило его искать нашего покровительства».

Мало-помалу все пришло в старый порядок; Анисья Матвеевна дремала и бормотала, хозяйка ушла. Аист улегся на развалинах своего гнезда, мы с незнакомкою сидели подле стола молча; она не могла собрать рассеянных своих сил, я не хотел расстаться с приятным впечатлением.

— Ваш рассказ расположил меня к этому испугу, — сказала незнакомка нетвердым голосом, но стараясь победить свое замешательство.

— Я вполне виноват, сударыня, хотя, впрочем, нарочно так рассказывал, чтобы вы видели более

смешную, нежели страшную сторону происшествия.

— Мое воображение забегает вперед вашего описания и видит только одни страхи. Но простите моему любопытству: чем же кончилось это происшествие?

Видно было, что незнакомка желала этого только для того, чтобы скрыть свое смущение, я, с своей стороны, потрясенный во всем составе, не в состоянии был рассказывать сколько-нибудь занимательно. Если незнакомка сделала на меня приятное впечатление до испуга, то этот аист расстроил меня совершенно. Даже и теперь я не могу думать об этом без душевного волнения. Я всегда был неловок с женщинами, а в то время все мои покушения поправиться оставались бесполезными. Я продолжал рассказ, сбивался и в коротких словах передал конец истории почти так:

«Священник не мог дослужить молебна и ушел в замешательстве. Я замечал все явления и ежели не совсем, то отчасти догадался о причине. Мне казалось, домовой — сама хозяйка, но как она отвечала только слезами на мои вопросы, то я захотел употребить к тому некоторое принуждение, я объявил хозяевам о приказании, мне данном, и вследствие того расположился

у них в тесной квартире с десятью человеками матросов, будто бы для наблюдения за проказами нечистого. Между тем запретил людям своим всякую обиду хозяевам; я велел им курить как можно более табаку, петь песни, пить вино и делать как можно более шуму. Завладев таким образом квартирою, я объявил хозяйке, что не выйду из дома до тех пор, пока не выживу домового. Военный народ, особенно если дашь ему свободу, едва ли не беспокойнее всякого демона, а потому через ночь, проведенную нами в мире и тишине с домовым, в тесноте, шуме и песнях с домашними, хозяйка пришла просить меня, чтоб я оставил ее в покое, и что, как ей кажется, шутки домового прекращаются. Я повторил приказание, данное мне начальством, — не оставлять до тех пор ее квартиры, пока не узнаю лично домового, и потому хозяйке оставался выбор или терпеть шум и толкотню от матросов, или признаться в своей комедии, и потому она, при помощи нескольких вопросов и убеждений с моей стороны, решилась на последнее и рассказала мне вот что:

Муж ее, довольно достаточный купец, выстроил себе новый дом, но по скупости, вместо того чтобы спокойно жить в нем, оставался в тесной и сырой наемной квартире; сверх того,

в нем увеличивалась охота к пьянству и бражничанью с подобными ему гуляками. Сколько хозяйка ни убеждала его перейти в новый дом и перестать пьянствовать, он не слушался и не унимался; тогда пришла ей мысль выжить его из квартиры и попугать выдумкою домового. Несколько опытов было сделано: суеверный и напуганный купец объявил об этом всему гостиному двору, повторение жалоб его привело любопытных, и наконец хозяйке уже надобно было разыгрывать публично комедию, сочиненную для домашнего представления. Она показала мне все приборы, ею придуманные: они состояли в веревочках с крючками, продетых неприметно в разных местах двух темных комнат: кухни и отделения за перегородкою, откуда с высокого шкафа, промежду резных фигур переборки, помощники ее, сын и девочка-служанка, сыпали кофе, порох, песок, бросали поленья и прочее. Все это было очень незамысловато; всего мудренее для меня казалось искусство, с каким двое детей помогали хитрой женщине, с каким притворством играли они роли свои, и, наконец, легковерие людей, позволявших себя обманывать грубыми и простыми средствами, которые приметны были при малейшем внимании.

Казалось в этом случае, что люди, приготовленные верою к чудесному, не хотели нарочно примечать обмана и желали видеть только то, что им нравилось. Даже когда я рассказывал полковнику и частному приставу, каким образом их легковерие было обмануто, — они качали головою, и не могши спорить против очевидности, но все еще не расставались со своим убеждением и поговаривали после между собою, что я или хвастал, или сделал это неспроста.

Я рассказывал это очень неловко: повторял, забывал, в голове у меня вертелось совсем другое: мне все казалось, что душистые локоны незнакомки касаются моих губ, — и слова замирали на губах; что голова ее лежит на моей груди, — и дух у меня занимался; когда же она устремляла на меня из-под длинных ресниц свой задумчивый взор — я совсем терялся…

Мне казалось, что незнакомке было неловче моего, может быть от той же причины, но что приносило удовольствие мне, то могло напомнить ей неприятное положение. Наш разговор был перерывчив и несвязен, учтивость с обеих сторон удвоилась, но не менее того я чувствовал, что эта учтивость не отзывалась холодностью и, напротив, имела с ее стороны что-то обяза-

тельное.

Таким образом прошло около получаса; мы мало-помалу начали было нападать на прежнюю дорогу, вдруг старый слуга незнакомки явился в дверях с докладом, что карета готова.

— Боже мой! — вскрикнул я с невольною живостью. Незнакомка покраснела, потупила глаза, взяла свою шляпу, медленно надела перчатки и пошла будить спящую компаньонку. Я хотел говорить, вертел несколько фраз о том, с каким удовольствием провел это время, как оно пролетело и проч., и ничего не мог выговорить, одним словом, сцена происходила молча, я велел смотрителю запрягать моих лошадей.

Наконец все было готово. Незнакомка видела мое замешательство и сказала мне тихим голосом:

— Благодарю вас за приятно проведенное время, за ваш рассказ. Извините, что я два раза потревожила вас и моим любопытством, и моим глупым страхом.

Я комкал свою фуражку, не знал, что говорить, но помнится, будто с жаром сказал, что охотно отдал бы жизнь за эти беспокойства. Бывают со всяким человеком глупые минуты, но не думаю, чтобы кто-нибудь в эти минуты мог быть

столько глуп и неловок, как я! Я не подал ни салопа незнакомке, ни отстранился от Анисьи Матвеевны, которая, по своему обычаю, говорила и суетилась; я стоял как вкопанный, и потом, вспомнив, что учтивость требует проводить незнакомку до кареты, бросился, как безумный, толкнул снова компаньонку и очутился опять пред незнакомкою, которая, дошед до порога, остановилась как бы в нерешимости, потом оборотилась ко мне и сказала:

— Когда возвратитесь в Петербург, мне приятно будет увидеть вас у себя, в дороге знакомство скоро делается, не правда ли, что мы уже знакомы? — продолжала она, сняв перчатку и подавая мне руку с улыбкой.

— Мне недоставало только видеть вас, чтобы познакомиться, — отвечал я, — есть люди, которых образ давно знаком нашей душе и воображению. — Я не смел сказать — сердцу, хотя бы сказал справедливее.

— Итак, вот мое имя, — сказала она, вынимая из ридикюля письмо, с которого сняв обертку, подала мне.

Сказав это, она спорхнула, как птичка, с крыльца и влетела в карету; ее рука едва касалась моей, когда я помогал ей садиться; я подсадил также

увесистую Анисью Матвеевну, которая бухнула подле нее, крестясь и проклиная дорогу, — и карета покатилась.

Ветер продувал, дождь лился на меня рекой, я стоял на крыльце, как будто мое тело потеряло способность двигаться без души, полетевшей за каретою.

Через четверть часа уехал и я.

В этот раз ни буря, ни дорога, ни толчки не могли остановить моего воображения.

Итак, вот женщина, которая впервые сделала на тебя такое впечатление! Вот осуществление идеала, созданного твоим воображением; того ли ты хотел? Да.

Итак, я поеду к ней — буду стараться заслужить взаимность, любовь, и если она даст мне руку, какое счастье! — как я обрадую матушку!

Так мечтал я, забывая все на свете, — и действительно, я заранее был счастлив. Но вдруг мысль о превратностях судьбы, ожидающих меня в будущем, опрокинула все мои воздушные замки.

Рассудок говорил против, — вероломное сердце твердило за себя. Наконец рассудок восторжествовал: «Я не поеду к ней — я не хочу ее сделать несчастною». Это было последнее мое решение — и я сдержал его!..

По возвращении в Петербург борьба с самим собою мне становилась тяжеле и тяжеле. Мать моя не переставала убеждать меня. Случай привел меня часто встречаться с милою путешественницею; в первый раз она сделала мне выговор, в последующие ни о чем более не упоминалось; но иногда я подстерегал какое-то вопросительное выражение ее глаз; это меня мучило — я любил ее, — что она должна была обо мне думать? Кто мог ей объяснить загадку моего поведения?..

Матушка моя осталась при своем желании, а я остался одиноким в этом мире!

В. Н. Олин
Странный бал
1838

В прошлом 182* году (я уже сказал, что так путешественник начал рассказ свой) — в прошлом 182* году, вечером, один отставной генерал, человек одинокий, сидел у себя дома. На дворе была глубокая осень, и время, помнится, приближалось уже к Михайловским заморозам. Скука мертвая, да и только! — Сидя на своем турецком диване, на котором лежали в головах три постельных подушки, и раскладывая уже несколько раз и на все манеры гранд-пассианс, генерал бросил наконец карты, зевнул, потянулся, поправил на голове колпак и взял книгу. Новая скука! Пробежать несколько страниц не долго и не трудно, и не в этом дело; но читать, когда читать не хочется, но глядеть в книгу, беспрестанно зевая и когда рябится в глазах не потому, чтобы хотелось спать, но потому, что или книга скучна, или просто, как я уже сказал, читать не хочется, — какое ужасное положение для читающего! — Не знаю как вы, а я испытал

это несколько раз и поэтому, признаюсь вам, я почти всегда с содроганием принимаюсь за всякую новую книгу.

Что делать? чем заняться? — Гранд-пассианс уже наскучил, книга не читается, лежать не лежится. Генерал, для рассеяния, спросил трубку; но и тут опять горе! Выкурив перед этим уже несколько трубок, он почувствовал от этой последней тошноту; позвонил в колокольчик, спросил стакан холодной воды, чтобы освежить желудок, — пить не хочется! Беда да и только! Одним словом, какое-то враждебное влияние, казалось, окружало его и над ним тяготело.

Прошедшись несколько раз взад и вперед по комнате, генерал снова позвонил в колокольчик.

— Иван! — сказал он вошедшему слуге, — выдь на двор и погляди, какова погода; да смотри, не ветрено ли? Все будет по крайней мере не так душно, как здесь, — продолжал он по уходе слуги и, снявши с головы колпак, повесил его на статуйку Медицийской Венеры, стоявшей у него на подзеркальном столике.

Слуга возвратился с ответом.

— Ну, так дай же мне поскорее одеться, — сказал генерал, — я хочу немного освежить себя

воздухом. Мертвая скука!

Казалось, что какая-то таинственная сила невольно увлекала генерала на улицу.

Накинув на себя шинель и нахлобучив фуражку, генерал взял трость и пошел прогуляться. На дворе было уже часов около десяти.

Взявши дорогу, без цели и без намерения, по набережной Фонтанки и сделав несколько шагов, он стал дышать свободнее, освеженный воздухом. Ночь была тихая, но темная: порою выплывал из-за туч месяц, сребря фантастические края их или рассыпая перламутровый блеск по дымчатому их руну, и снова застилался тучами. Генерал шел, шел, шел, все прямо по набережной и, наконец поворотив на Чернышев мост к переулку, ведущему к Гостиному двору, пошел другою стороною Фонтанки, пробираясь уже домой. Время приближалось к двенадцати часам, стук экипажей уже изредка прерывал безмолвие ночи; свету в окнах большей части домов уже не было, пешеходы начали встречаться реже и реже, многие из фонарей уже догорали, и самые даже наши гостеприимные Фрины (прибавил, улыбнувшись, путешественник) молились уже дома перед лампадкою.

Ночь в столице поучительна для наблюдателя.

Вдруг, неожиданно, попадается генералу навстречу знакомец его, Вельский, молодой образованный человек. Он был закутан в широкий гишпанский плащ; на голове у него надета была шляпа также с широкими полями, подобная тем, какие носят в Англии квакеры, или, лучше сказать, она скорее походила бы на погребальную, если бы только тулья ее имела форму полусферическую, а не просто обыкновенную.

— Куда, любезнейший? — спросил генерал Вельского, подавая ему руку и остановившись с ним под фонарем на тротуаре набережной.

— В гости, — отвечал Вельский. — А вы, генерал, куда и откуда? Верно из гостей иль театра, или также в гости?

— Нет, — отвечал генерал, — просто прохаживался и возвращаюсь теперь домой.

— Но эти часы, — возразил, улыбнувшись, Вельский, — кажется, не пора для прогулки без цели. Верно, какое-нибудь пленительное rendez-vous[9], генерал… впрочем, быть может, и весьма благоразумное… русый локон — прелестная, стройная ножка, как у подруги первого человека… или голубые глазки, озаренные ка-

---

[9] Сноски: 9
свидание (*фр.*).

ким-нибудь из блистающих теперь созвездий… Ха, ха, ха! Это, право, поэзия!.. Да и какая ж еще? — Романтическая, генерал!

— Ах ты повеса! Вечно шутки да шутки!.. Совсем нет, любезнейший! ты ошибаешься: какая-то мертвая скука — хандра не хандра…

— Верно, сплин? — прервал Вельский.

— Не знаю.

— Далее, генерал?

— Выгнала меня из дому. Вот я и пошел прогуляться; и теперь, освежившись воздухом, чувствую, что мне стало гораздо лучше, однако ж еще не совсем.

— Долго ли вы гуляли?

— Да так, часов около двух.

— И вы не устали?

— Нимало.

— Прекрасно! И вы не хотите спать?

— Нисколько.

— Прекрасно. И вы говорите, что вам все еще скучно?

— Да.

— Прекрасно!

— Что за гиль[10] ты городишь, любезнейший?

---

[10] Сноски: 10
смута, мятеж.

Я, право, не понимаю, что ты хочешь этим сказать.

— Видите ли вы этот дом? — спросил Вельский и, вынув из-под плаща левую руку, на которой надета была белая лайковая перчатка — обыкновенная бальная принадлежность молодого человека, указывал на одно здание с прекрасным подъездом, у которого горели два кулибинских фонаря, или кенкета, отражая свет на мостовую. — Вот этот самый, — продолжал он, — который изнутри освещен так великолепно и мило?..

Генерал обернулся и в нескольких от себя шагах, в стороне, увидал в самом деле прекрасно освещенный дом, мимо которого, в своей задумчивости, прошел он без всякого внимания. У подъезда стояло несколько экипажей; в окнах третьего этажа горело множество свеч, и если бы кто-нибудь в это время, с противуположной стороны набережной, взглянул на это здание — глазам его представилась бы картина прелестная: дом, опрокинутый в воду, отражался в зеркальных зыбях ее с своим освещением, со всеми своими формами и даже с самым цветом стен своих: поэтому-то осенью блистательные иллюминации в Петербурге весьма живописны по набережным; иногда, по временам, раздава-

лась музыка, сквозь цельные стекла, с разноцветными гардинами, видны были горящие лампы, люстры и канделябры, картины в золотых рамах, бронза, вазы с цветами и проч.; в окнах мелькали иногда, как бы китайские тени, человеческие фигуры, — и вот прекрасный случай сказать с поэтом:

Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет.

По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков…
и проч., и проч., и проч.

— Прекрасно, прекрасно, генерал! — повторил Вельский, ударив дважды, как бы в утверждение истины слов своих, рукою в руку.

В это самое время снова раздался из дому звук бальной музыки.

— Но что же есть общего, — спросил генерал, — между этой вечеринкой и мною?

— Очень много, — отвечал Вельский, — более, чем между поэзией и музыкой, между желанием

и эгоизмом, между идеалом и его отблеском, великим умом и безумием, деньгами и всем на свете, — несравненно более, наконец, чем между Гомером и экзаметром.

— Все это для меня тарабарская грамота, любезнейший! — отвечал генерал, — ровнехонько ничего не понимаю!

— В таком случае я объяснюсь понятнее, — сказал молодой человек, улыбнувшись; но в улыбке его было что-то необыкновенное, странное: одним словом, какое-то фантасмагорическое слияние горькой и грешной насмешки с обыкновенною игрою мускулов. — Вот в чем дело, — продолжал он, — я приглашен на этот бал, или, лучше сказать, на эту дружескую маскерадную вечеринку; хозяин мне хороший приятель; одним словом — все семейство премилое: вам скучно, генерал, — и вот прекрасный случай рассеяться; пойдемте вместе на вечеринку: хозяин и хозяйка вам будут от души рады. Вы найдете там лучшее общество… даже, как я слышал, будут читать стихи… поэзия, разумеется, домашняя; но когда же дружба бывает слишком взыскательна? — Музыка, танцы…

— Но я не танцую, любезнейший! — сказал генерал.

— Бостон, вист…

— Я не играю в карты.

— Молодые девицы с их полувоздушными талиями, которые легко бы могли поколебать добродетель и самого старого анахорета и которых наши новейшие трубадуры, с их феодальными мандорами, верно уподобили бы очаровательным феям, танцующим при луне и чуть-чуть приклоняющим мураву легкими и стройными их ножками; одушевленная кинетозография, излияние сердца, остроты, шутки, игры, живые картины, дипломатика, — одним словом, есть тысяча средств приятно рассеяться на вечеринке, и особливо на такой, какова эта.

— Но я не знаком с хозяином, любезнейший!

— Зато я короткий приятель в доме, — отвечал молодой человек, — член одного семейства; и, как я уже сказал вам, хозяин и хозяйка — люди прекраснейшие — будут более чем рады, генерал, если вы их обяжете вашим посещением.

— Благодарю за честь, любезнейший! — отвечал генерал, — однако ж я лучше ворочусь домой и почитаю Библию: я остановился, кажется, на одиннадцатой главе Книги Бытия, и еще в первый раз в моей жизни. Ах! почтеннейший, рано или поздно, а все-таки надобно приняться

за Библию.

Вельский захохотал почти во все горло…

— А который вам год, генерал?

— Да вот уж, брат, с прошлых заморозков стукнуло за половину пятого десятка.

— «Аще в силах — и восемьдесят» — сказано в этой же самой книге, — продолжал Вельский с насмешливою улыбкой. — Рано же вы, генерал, хотите отретироваться из-под знамен наслаждений жизни… Но не об этом дело; я знаю, что искушать пустынника есть только напрасный труд; впрочем, как бы то ни было, я неотступно зову вас на вечеринку. Вы встретите там несколько таких предметов, которые, ей-ей, будут в силах вскипятить в вас стынущую от уединения кровь; и клянусь вам — всем, чем вы хотите, — что светленькие и черные глазки той красивой головки, которую вы там увидите, могут не хуже гальванизма привести в движение все нервы даже у самого мертвеца и — говорю по совести — должны решительно вскружить и вашу голову.

— Соблазнитель!.. — воскликнул генерал, улыбнувшись в свою очередь. — Перестань, греховодник! — продолжал он, — хоть ты и резов на слово, но как бы то ни было, любезнейший, а я все-таки пойду домой, дочитаю одиннадцатую

главу Книги Бытия и потом, оградись крестным знамением, лягу спать, — и верно засну, с божиею помощью.

К великому удивлению генерала, разговаривавшего, как мы уже сказали, под фонарем с Вельским, он приметил, что этот последний сделал ему какую-то ужасную гримасу и что какой-то туман начал его скрывать от глаз его, сквозь который едва приметное одно только лицо Вельского светило как пламень пожара при застилающем его дыме. Генерал протер себе глаза, чихнул несколько раз, почувствовав под носом серный запах, и, между тем как мысленно приписывал он причину этой странности преследовавшей его скуке, Вельский снова представился глазам его в обыкновенном своем виде.

— Ахти, господи-Христе-Иисусе! — воскликнула изумленная Матрена Прохоровна, перекрестившись невольно.

— Ну, отец мой Сергей Сергеевич, что-то будет далее?

— Да, любопытно знать, — прибавил Савва Трофимович, — что окажется далее?

— Я не буду без нужды, — продолжал путешественник, — входить в подробности разговора Вельского с генералом. Скажу только, что неот-

разимое красноречие Вельского наконец восторжествовало и он убедил генерала пойти с ним на вечеринку.

Дорога была недолга: стоило только с тротуара набережной сделать несколько шагов через улицу.

Красивая и освещенная лестница, на последней площадке которой стоял гипсовый рогатый Сатир колоссальной формы, вела в третий этаж того дома, куда пришли генерал с Вельским. Войдя в переднюю, генерал с трудом перевел дух, почувствовав в груди сильную одышку.

Лакеи встали, и один из них, в галунах и красной ливрее, снял шинель с генерала и плащ с Вельского.

Генерал и Вельский вошли в залу, где мужчины, на нескольких столах, играли в карты — статские, военные, придворные. Восковые свечи на ломберных столах горели в серебряных шандалах и, отражаясь в хрустале зеркал, украшавших простенки, представляли какую-то мечтательную галерею других фантастических гостей, со всеми их телодвижениями, или, лучше сказать, одушевленную космораму существ оптических или идеальных. Вельский представил генерала хозяину, вошедшему в эту самую ми-

нуту из гостиной в залу, человеку уже более чем средних лет, почтенной наружности, с звездою на груди и с знаком отличия беспорочной службы на ленточке храбрых. — При сих словах Савва Трофимович, с видом самодовольства, посмотрел на третью петлю левой полы своего фрака, где на Владимирской ленточке рисовался золотой дубовый венок с четырьмя десятилетиями посредине. «Я должен сказать вам, — продолжал путешественник, — что почтенный хозяин жаловался, однако ж, что его обочли годами по формуляру».

— Конечно, еще по новости и при самом начале, — сказал Савва Трофимович, чистя обшлагом свой знак отличия беспорочной службы.

— Без сомнения, — отвечал путешественник и продолжал далее: — После обыкновенных с обеих сторон учтивостей, извинений насчет туалета, нисколько не соответствовавшего бальной вечеринке, и благодарности за честь посещения хозяин ввел генерала в гостиную, где сидело несколько разряженных женщин по последней парижской моде, и представил жене своей, молодой и прекрасной даме, одушевлявшей беседу своею любезностию.

— И, верно, говорил по-французски? — сказала

Пелагея Саввишна.

— Какой вопрос, мой ангел! — прервала старшая ее сестрица. — Разумеется, по-французски, потому что в хороших обществах не говорят по-русски, да это и не в тоне. Не правда ли, Сергей Сергеевич, что верно ведь говорили по-французски?

— Без всякого сомнения, — отвечал путешественник, — вечеринка была одною из лучших и самая блистательная.

— Ах вы мои зяблицы!.. — воскликнула Матрена Прохоровна. — Ну, отец мой Сергей Сергеевич, хозяин с генералом вошли в гостиную…

— Да, — продолжал путешественник. — Тысячию любезных учтивостей прелестная наша хозяйка увила признательность свою генералу за то неожиданное удовольствие, которое доставлял он им своим знакомством. В самых блистательных цветах французских фраз благодарила она гостя, который, худо понимая по-французски или, лучше сказать, вовсе не понимая и, следственно, всегда охотнее объясняясь на языке отечественном, должен был, к сожалению, отвечать по-русски и складывал всю вину на Вельского…

— Quelle horreur![11] — прошептала вполголоса Степанида Саввишна.

— Напротив, генерал, — отвечала хозяйка (продолжал путешественник), — Вельскому-то именно я и должна быть благодарна, — и бросила такую улыбку на молодого человека, от которой запрыгало бы и оледенелое сердце анахорета. — Наконец, генерал, — сказала она, — прошу вас быть без церемоний как дома: никогда не бывали вы на такой дружеской и единодушной вечеринке.

— Как нравится вам хозяйка, генерал? — спросил Вельский.

— Она очаровательна; что за глаза, какие розы в щеках, зубы как жемчуг; а улыбка, любезнейший!..

— О! да это поэзия, генерал!

— Поневоле будет поэзия, любезнейший, как поцелуешь такую нежную и пухленькую ручку…

— Завидую вашей участи, — отвечал Вельский с насмешливою улыбкой, которой, однако ж, собеседник его не заметил. И в самом деле, генерал стал веселее и разговорчивее.

---

[11] Сноски: 11
Какой ужас! (*фр.*)

— О! то ли еще вы увидите!.. — сказал Вельский. — Но слышите ли вы пленительные звуки мазурки? Пойдемте взглянуть на маски, на танцы и посмотрим на воздушных прелестниц.

— Соблазнитель!.. — прошептал генерал, погрозив ему пальцем.

Они вошли в залу.

Зала была блистательна и великолепна. Тысячи восковых свеч отражали блеск свой в кристалле зеркал и на паркете. Портреты в золотых рамах, все в рост, были так живы, что, как говорит один из великих наших поэтов, хотели, казалось, сойти со стен и принять участие в общем веселье; мраморные статуи ожидали только благоприятной минуты, чтобы спрыгнуть со своих пьедесталов. Одним словом, это был храм очарований. Прибавьте ко всему этому пестроту и ослепительный блеск костюмов, ароматы с кудрей красавиц и платков млодых франтов, музыку, живые гирлянды и букеты танцующих — и вам не трудно будет дорисовать картину.

— Клянусь блистательным усом Пророка! — воскликнул Вельский, — если бы я был Великим Султаном, в гаремах моих было бы столько одалисок, сколько роз в садах моих; но все эти девицы и дамы были бы лучшим цветом моих Гинекеев:

все они так прелестны!

Генерал, щурясь, пристально всех их рассматривал. И в самом деле, вечеринка была блистательная! Некоторые из дам и кавалеров были в костюмах и масках, другие без масок.

— Посмотрите, как ласково этот голубой атласный корсет обнимает полувоздушную талию этой молодой андалузянки, с блестящими как жемчуг зубами; кажется, он весь прилип к ней, нет ни одной складки, ни одной негладкости: белая пышная кисейная юбка, опущенная немного ниже колен, свободно и без ревности дает видеть ненасытным глазам стройную и прелестно округленную ножку, которую с жадностию обхватывает черный бархатный башмачок, почти весь открытый и с маленькою золотою пряжкою: не слышно, как она ступает; при каждом полете ее голубая атласная подвязка блестит и мелькает, заставляя сердце упоенного любовника трепетать учащенным биением… О Урсула блаженная! разве не видите вы, как страстно он прижал ее к пламенеющей груди своей, прежде чем выпустить ее из своих объятий и передать другому кавалеру… между ими один только воздух. Но не грусти, молодой человек, ты ненадолго с нею расстался! К каштановым волосам ее прико-

лота роза. — Как пленительна и эта белокурая девушка в малиновом сарафане; как пристала к голубым глазам ее эта серебряная глазетовая повязка; белые руки ее обнажены по локоть, как милы эти красные сафьянные чоботцы; в косу ее вплетена алая лента; святые угодники! Какой пышный бант в этой русой красе девичьей!.. А ты, таинственная незнакомка, — кто ты, очаровательница? Какой пленительной белизны, какой сладострастной округлости твои обнаженные руки; как обольстителен этот золотой браслет на этом снегоподобном мраморе с голубыми жилками; мягкие и как шелк блестящие кудри твои, чародейка, рассыпанные по твоим плечам алебастровым, чернее потухшего угля; все формы ее прелесть и воздух; все движения — жизнь и гармония; нет слов — в звуках языка человеческого, нет красок на палитре Рафаэлевой, чтобы изобразить эту волшебницу: если бы я был Праксптелем или Качовою, клянусь вам знаменитым прахом всех катакомб римских, я бы пошел на пытку и плаху, чтобы мне изваять только к ней статую!.. Силы небесные! свейте эту ревнивую маску с лица прелестницы!..

Какая блистательная смесь кадрилей и одеяний!.. Как мила эта пышная роза на груди этой

молодой итальянской садовницы; и как печален этот прелестный букет в руках этой старой ведьмы!..

А этот господин в красном французском кафтане с стразовыми пуговицами, из-под фалд которого, сзади, виден закорюченный хвостик; в напудренном парике с пуклями, который прорезывают два небольших и блестящих, как отполированный агат, загнутых рога; с дворянскою шпагою восемнадцатого столетия и с собачьей мордою?.. Клянусь вам, если бы это не была только маскерадная вечеринка, его бы можно было назвать самим Сатаною!..

Взгляните на эту молодую савоярскую крестьянку, роскошную как весна в своем цвете: она ласково сидит на коленях у своего мужа; левую руку свою, обвив ее около шеи своего друга, она положила ему на голову, подняв вверх два пальчика, прелестные, стройные, с блестящими и розовыми ногтями, обведенными по краям опалом или перламутром, — большой и указательный: другою нежно держит она его за подбородок, приподняв ему немного голову, и говорит: «Посмотрите, как он любезен!» — Картина и группа прелестная!..

И генерал не знал, на которой из очарователь-

ниц остановить ему глаза свои. Он чувствовал, что ему легче, веселее, игривее; что он смотрит на предметы, как они представлялись ему лет за пятнадцать, то есть ярчее, живее, цветистее; что кровь течет резвее по жилам его: столько-то справедливо, что есть звуки, формы и фантазматы, которые имеют силу магическую, и что сердце никогда совершенно не стареет!

И вся станционная компания — и сам даже офицер внутренней стражи (за исключением доктора Генкера, который, с закрытыми уже глазами и в степенной неподвижности, опустил бесконечный и перпендикулярный нос свой в недопитый им еще стакан пунша), — и вся станционная компания, повторяю, была внимание и нетерпение.

— Я не буду описывать вам, — продолжал путешественник, нимало не заботясь о том, чтобы скорее удовлетворить любопытству своих слушателей, — я не буду описывать вам костюмов, кадрилей и масок; это бы значило употреблять во зло ваше терпение; скажу одним словом, что все они, более или менее, отличались вкусом и выбором; но были, однако ж, и маски странные, фантастические: например, тут ходила лошадиная нога, там ветряная мельница, размахивая

своими крыльями; здесь летал безобразный нетопырь, там выступал скелет отвратительный: от всепожирающего разрушения уцелели одни только глаза, страшно вращавшиеся в их костяных орбитах; тут поражал зрение могильный вампир с окровавленною пастью, в истлевшем саване и с такими же волосами, готовыми разлететься пеплом при первом на них дуновении; там, вроде гнома, катилось что-то похожее на колесо без обода, и в ступицах коего, по обеим сторонам, пылали два страшные глаза, а вместо спиц торчали уродливые и тинистые руки; одним словом, противуположность была блистательная: жизнь, цветы и прелесть сливались с безобразием и гнусностию, и, обратно, безобразие и гнусность были смешаны с жизнию, цветами и очарованием. — И в самом деле, то была прелестная маскерадная вечеринка!

— А! — сказал Вельский, — вот к нам подходит та красивая головка с светленькими и черными глазками, о которой я говорил вам. Не правда ли, генерал, что она мила, очаровательна? Нет, кажется, ничего необыкновенного, — а вся прелесть! Глаза как брильянты!

Музыка заиграла польской. Она с любезностию пригласила генерала на танец; и мог ли он от-

казать ей? Генерал вспомнил свои юные годы, шаркал, подавал руки с грациозностию и не забыл даже ни одной фигуры в своем полонезе. О! как оживляют сердце красота и молодость! Наконец все хлопнули в ладоши, и из степенных, медленных тонов оркестр слился в живые и быстрые звуки вальса; и все закружились — и все кружились, кружились, кружились. Генералу казалось, что вихорь уносит его, что под ногами его исчез пол — он смотрит на свою даму… Творец небесный! У нее, как флюгер, вертится головка на плечах — и какая головка! Она хохочет, мчит, увлекает его, не выпускает из своих объятий, кружит как водоворот; он едва дышит, он готов уже упасть… но музыка стихла, и генерал, в ту же минуту, как будто бы не вальсировал, как будто бы вовсе не чувствовал усталости. Однако ж он отер пот, катившийся с него градом.

Подали чай, прохладительный; Вельский не оставлял почти ни на минуту генерала, который, несмотря на то что никогда не был охотником до наблюдений, не мог, однако ж, не сделать ему одного замечания. «Я согласен, — сказал он, — что все эти девицы и дамы очень милы; но отчего, любезнейший, у некоторых из них козлиные ножки, у других копытцы, у третьих

гусиные лапы?»

— Это шалость молодости, игра воображения, — одним словом, маскерадная утонченность, — отвечал Вельский.

— Проказницы! — сказал генерал, — ведь умели же ухитриться!

— Да и как! — прервал Вельский, указывая на некоторых из костюмированных мужчин, — вздумали, как вы видите, приставить рожки мужьям своим.

— Ну, это еще куда бы ни шло, — отвечал генерал, — копытцы-то, любезнейший, копытцы — даже и у этой красивой головки с брильантовыми глазками, — хоть правду сказать, уж чересчур вертлявой.

Вельский, при всем желании своем, не мог удержаться от смеха.

Звук оркестра снова прервал разговор их. Хозяйка подала генералу руку, и он опять не мог отказаться, чтобы не принять участия в танцах. Французская кадриль развилась во всей своей прелести; когда же она обратилась наконец в вакхический тампет, то все зашумело, захлопало, запрыгало: оркестр гремит, шпоры бренчат, стук, хлопотня, топот — настоящая буря! Генерал прыгает, хлопает в ладоши, скачет как сумасшедший;

из окон, с улицы, кивают ему какие-то безобразные рожи; в глазах у него все летит, все мчится… Глядь на стены: рамы пусты; смотрит: на пьедесталах нет статуй. Иаков II прыгает с Анною Бретанскою, Генрих IV скачет с прабабушкою хозяйки, Людовик XIV поймал Семирамиду, Аполлон Бельведерский пляшет вприсядку с Царицею Савскою, фельдмаршал Миних ударил трепака с Венерою Медицийскою; стены трясутся, стеклы звенят, свечи чуть-чуть не гаснут, пол ходит ходнем… кутерьма да только — точь-в-точь дьявольский шабаш!.. Но оркестр снова замолк — и все пришло опять в прежний порядок.

Надобно было, признаюсь вам, всего влияния Вельского на ум генерала, чтобы успокоить его мысли. В молодости своей он бывал на балах и в маскерадах; но никогда еще не видал, чтобы оживали мертвые, чтобы плясали картины и статуи. Но красноречие Вельского изгладило из мыслей генерала всякое сомнение. Столько-то справедливо, что дар слова не вовсе же бесполезен.

— Вы согласитесь, — продолжал путешественник, — что танцы могут иногда наскучить и что разнообразие составляет прелесть жизни. Французская кадриль и вальс были заменены игрой в фанты. О! как прелестна эта игра в фанты!

Молодая девушка, которая с открытыми глазами никогда бы не осмелилась прикоснуться к вам пальчиком, с повязкою на глазах, напротив, садится беспечно к вам на колени; поцелуи позволены; одним словом, это поэзия романтическая. Не отказавшись уже от танцев, от тампета вакхического, этого дифирамба Терпсихоры, мог ли генерал не принять участия и в самой игре в фанты? Труден обыкновенно только первый шаг. Наконец, когда в свою очередь вынулся фант генерала, хозяйка, королева игры, предложила ему спрыгнуть с комода. Дело, кажется, было нетрудное: стоило только стать на стул, потом на комод — и сделать прыжок; но у генерала, как говорится, замирало сердце от страха. Три раза он уже готов был спрыгнуть, стоя на комоде, как бы какой-нибудь народный оратор на пивной бочке, — и снова три раза не мог он решиться. Все шутили, смеялись, никто не хотел верить, что он бывал в сражениях, что на приступах ему случалось обрываться с парапетов. «Ну! благослови господи!» — сказал наконец генерал — и перекрестился… Свечи, гости, зеркала, люстры, картины, статуи — все вдруг исчезло, и генерал очутился, один-одинехонек, ночью… где бы вы думали? — На лесах в четвертом этаже.

— С вами крестная сила! — воскликнула Матрена Прохоровна, — с нами крестная сила!.. Ну что, если бы он спрыгнул, мой родимой, с четвертого-то этажа на мостовую?

— Тогда бы он непременно убился до смерти, — отвечал полицмейстер, — и тело его, на первый случай, было бы взято в полицию.

— Дело важное, криминальное! — воскликнул Савва Трофимович.

— Позвольте заметить вам, — возразил офицер внутренней стражи, обращаясь к Сергею Сергеевичу и думая поймать его в злоупотреблении, — вы, кажется, сказали, что вечеринка была в третьем этаже.

— Э! помилуйте, — отвечал путешественник, — что значит для Сатаны подняться на этаж выше? — И офицер замолчал, убежденный неотразимым доказательством путешественника.

— И эта гистория действительно достоверная? — спросил Савва Трофимович.

— Не подверженная ни малейшему сомнению, — отвечал путешественник, — я слышал ее от самого генерала, который только что оправился от белой горячки.

М. Н. Загоскин
Концерт бесов
1834

— Если кто-нибудь из вас, господа, живал постоянно в Москве, — начал так рассказывать Черемухин, положа к стороне свою трубку, — то, верно, заметил, что периодические нашествия нашей братьи, провинциалов, на матушку-Москву белокаменную начинаются по большей части перед Рождеством. Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в Охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, возков и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года. Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожилов, давно уже наша древняя столица не была так полна или, лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины Благо-

родного собрания пожимали плечами, когда на их балах не насчитывали более двух тысяч посетителей, и громогласно упрекали в этом италиянца Медокса, который беспрестанно давал маскарады в залах и Ротонде Петровского театра. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а душились и давили друг друга, были в эту зиму любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зорин — так звали этого молодого человека — только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в Италии, любил страстно музыку и всегда говорил об италиянской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах Лауреттою, но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что не одна страсть к искусству была причиною сего энтузиазма, и хотя Зорин никому не поверял своей сердечной тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадывали, почему он казался всегда печальным,

скучным и оживал тогда только, когда начинали с ним говорить об италиянской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии назвали бы сплином, мы называли просто хандрою и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нашего приятеля, покачивал сомнительно головою. «Полноте, Фома Фомич! — говорили мы ему, — что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день да приемов пять или шесть в неделю балов, театров и маскарадов, так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств». Как ни упирался Фома Фомич, а под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званого вечера, но зато постоянно каждый маскарад являлся первый и уезжал последний.

Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе Великого поста, и, чтобы не попасть в беду, я должен был

непременно в чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться досыта, я провел всю масленицу самым беспутным образом. Днем — блины, катанья, званые обеды, вечером — театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу была бездна, каждые двери приходилось брать приступом, и я насилу в четверть часа мог добраться до Ротонды. Музыка, шумные разговоры, пискотня масок, которые, несмотря на то что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор; ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушающий гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят во что бы ни стало веселиться, — все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать местечка, где бы мог присесть и немного поосмотреться. Пробираясь вдоль сте-

ны, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени; обернулся, гляжу — высокий мужчина, в красном домино и маске, манит меня к себе рукою. В ту самую минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места.

— Садись подле меня, — сказал он, — насилу-то мы с тобою повстречались! Да что ж ты на меня смотришь? — продолжал замаскированный, — неужели ты не узнал меня по голосу?

«Да, — подумал я, — в этом голосе есть что-то знакомое, но он так дик, так странен…»

— Ну, если ты меня не узнаешь, так смотри! — сказал человек в красном домино, приподымая свою маску. Я невольно отскочил назад — сердце мое замерло от ужаса… Боже мой! так точно, это Зорин! это его черты!.. О, конечно!.. Это он, точно он!.. Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его… Но теперь… Нет, нет!.. Живой человек не может иметь такого лица!

— Что ты? — спросил он с какою-то странною улыбкою, — уж не находишь ли ты, что я переменился?

— О! чрезвычайно!

— Так зачем же говорят, что печаль меняет человека… Неправда! не печаль, а разве радость.

— Радость?

— Да, мой друг! О, если б ты знал, как я счастлив! Послушай! — продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостию вокруг себя, — только, бога ради, чтоб никто не знал об этом! Она здесь!

— Она?.. Кто она?

— Лауретта.

— Неужели?

— Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, променяла свои вечно-голубые небеса на наше облачное угрюмое небо; там, в кругу родных своих, пригретая солнышком благословенной Италии, она цвела, как пышная роза; а здесь, одна, посреди людей мертвых и холодных, как наши вечные снега, она если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу, и все это для меня!.. Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все, — живая легла в эту обширную, холодную могилу, которую мы называем нашим отечеством, — и все это для меня!.. И все это для того, чтобы увидеться опять со мною!

— Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг! — прервал я моего приятеля. — У нас

не так тепло, как в Италии, но так же бывает и весна и лето. Быть может, в Неаполе веселее, чем здесь, однако ж, воля твоя, и Москва не походит на могилу, да и твоя Лауретта, не погневайся, не первая италиянская певица, которую мы здесь видим; и если она будет давать концерт…

— Да! один и последний! Я согласился на это; пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня.

— Так она хочет навсегда здесь остаться?

— Да, навсегда. Ну, видишь ли, как она меня любит? Но зато и я… О! любовь моя не чувство, не страсть… нет, мой друг, нет!.. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство? Поймешь ли ты меня?.. Я принадлежу ей весь… Она просила меня… да! она хотела этого… — Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо — Я отдал ей мою душу, — теперь я весь ее… Понимаешь ли, мой друг? — весь.

Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу; да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею; эта пошлая, истертая во всех любовных изъяснениях фраза не значит ничего. Но, несмотря на это,

не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающих глаз, этот неистовый, безумный восторг, эти слова радости и бледное, иссохшее лицо мертвеца!..

— Эх, братец! — сказал я с досадою, — как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам; ее отдавать никому не должно. Люби свою италиянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть владеет твоим сердцем…

— Сердцем! — повторил насмешливым голосом мой приятель. — Да что такое сердце? разве оно бессмертно, как душа, разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок: горсть пыли! Кто дарит свое сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется, а оно может застыть и сегодня, и завтра; но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг, дарить так дарить! Теперь Лауретте бояться нечего, душа не сердце — ее не закопают в могилу.

— Да сделай милость — прервал я, — покажи мне эту волшебницу, эту Армиду, которая, как демон-соблазнитель, добирается до твоей души;

повези меня к ней.

— Я не знаю сам, где она живет.

— Нет, шутишь?

— Да, мой друг, я видаюсь с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться, но все это скоро кончится: после ее концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню.

— А когда будет ее концерт?

— На будущей неделе в пятницу.

— На будущей неделе?.. Быть не может! Ты, верно, позабыл, что на первой неделе Великого поста не дают никаких концертов.

— Полно, так ли? Кажется, Лауретта должна это знать; она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой Ротонде.

— Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня?

— Нет еще. Она не приезжает никогда ранее двенадцати часов, но зато ровно в полночь, как бы ни было тесно в маскараде и где б я ни сидел, она всегда меня отыщет.

— Ровно в полночь! — сказал я, взглянув на мои часы, — то есть через две минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь.

Если вам не случалось самим, господа, встречать Великий пост в маскараде, то по крайней

мере вы слыхали, что, по принятому обычаю, ровно в двенадцать часов затрубят на хорах, и музыка перестает: это значит, что наступил Великий пост и что все публичные удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, поотстали, над самой моей головою раздался пронзительный звук труб, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! как они испугали меня!» — проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя: вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино; мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венецияне. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же самое время поравнялись со мною три маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в Ротонде: одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами: «сухоедение». По обеим сторонам ее шли другие две маски, из которых одна одета была грибом, а другая — капустою. Длинное пугало поздрав-

ляло всех с Великим постом, прибавляя к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху. Один я не смеялся, а работал усердно и руками, и ногами, чтоб продраться сквозь толпу. Наконец мне удалось вырваться на простор: я обшарил всю Ротонду, обежал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венецияна. На другой день поутру я заезжал проститься с Зориным, не застал его дома, а вечером скакал уже по большой Петербургской дороге.

Прошло более трех месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь беспрерывно службою и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внучатах, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в Английском клубе, пробегая не помню какой иностранный журнал, я попал нечаянно на статью, в которой извещали, что примадонна Неаполитанского театра, Лауретта Бальдуси, к прискорбию всех любителей музыки, умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле близ Портичи.

«Лауретта! — повторил я невольно, — примадонна Неаполитанского театра!.. Ах, боже мой!

Да это та самая италиянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин! Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскараде у Медокса?.. Что за вздор!..» В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтоб он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомляли меня, что на первой неделе Великого поста, поутру в субботу, нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уж недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все старания мои были напрасны. Наконец совершенно неожиданным образом я увиделся с ним в одном доме, где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудное приключение, которое началось в Ротонде Петровского театра и кончилось там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так, как я слышал его от бедного моего приятеля.

«Ты, верно, не забыл, — сказал он мне, — что я последний раз виделся с тобою накануне Ве-

ликого поста, в маскараде у Медокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой, — сказала она мне, когда я взял ее за руку, — я требую также, чтобы ты четыре дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, часу в двенадцатом ночи. Здесь, в Ротонде, будет репетиция концерта, который я даю в субботу». — «Но к чему так поздно? — спросил я, — и пустят ли меня?» — «Не беспокойся! — отвечала Лауретта, — для тебя двери будут отперты; я репетицию назначила в полночь для того, чтоб никто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей музыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе; если же ты меня не послушаешься, а особливо когда пустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидим-

ся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет, — промолвила она тихим голосом, — но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою».

В течение двух лет, проведенных мною в Неаполе, я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем — и вдруг без всякой причины становилась суеверною до высочайшей степени, видела везде злых духов, советовалась с ворожеями и если не любила, то по крайней мере боялась бога. По временам она называла себя моей рабою и была ею действительно; но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малейшего противоречия; а посему, как ни странны казались мне ее требования, я не дозволил себе никакого замечания и безусловно обещался исполнить ее волю, тем более что она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей

любви.

— Ты можешь себе представить, — продолжал Зорин, — с каким нетерпением дожидался я пятницы. Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя, когда ты поутру приехал со мною проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел как на огне, а ночью, — о мой друг! таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни! Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманным искусством и наукою! Не знаю, как дожил я до пятницы; помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится также, день был не праздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить колокола. Передо мной лежали часы; когда стрелка стала подвигаться к полуночи, нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство; я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В половине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра,

но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Пречистенку, Моховую и вышел на площадь Охотного рада. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более и светлее обыкновенного; многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены: подле них стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож, он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не знаю, оттого ли, что я пришел уже в назначенное место, или от чего другого, только я приметным образом стал спокойнее, и помню даже, что, рассмотрев хорошенько моего проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны, как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройля длинную галерею, мы вошли наконец в Ротонду. Она была освещена, во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но, несмотря на это, в ней было темно; все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстые свечи в высоких

погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами; ноты, инструменты, свечи — одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было.

В первых рядах кресел сидело человек тридцать или сорок, из которых некоторые были в шитых французских кафтанах, с напудренными головами, а другие в простых фраках и сюртуках. Я сел подле одного из сих последних.

— Позвольте вас спросить, — сказал я моему соседу, — ведь это все любители музыки и артисты, которых пригласила сюда госпожа Бальдуси?

— Точно так.

— Осмелюсь вас спросить, кто этот молодой человек в простом немецком кафтане и с такой выразительной физиономиею, вон тот, что сидит в первом ряду с краю?

— Это Моцарт.

— Моцарт! — повторил я, — какой Моцарт?

— Какой? вот странный вопрос! Ну, разумеется, сочинитель «Дон-Жуана», «Волшебной флейты»…

— Что вы, что вы! — прервал я, — да он года четыре как умер.

— Извините! он умер в 1791 году в сентябре месяце, то есть пять лет тому назад. Рядом с ним сидят Чимароза и Гендель, а позади Рамо и Глук.

— Рамо и Глук?..

— А вот налево от нас стоит капельмейстер Арая, которого опера «Беллерофонт» была дана в Петербурге…

— В 1750 году, при императрице Елисавете Петровне?

— Точно так! с ним разговаривает теперь Люлли.

— Капельмейстер Людовика Четырнадцатого?

— Он самый. А вон, видите, в темном уголку? Да вы не рассмотрите его отсюда: это сидит Жан-Жак Руссо. Он приглашен сюда не так как артист, но как знаток и любитель музыки. Конечно, его «Деревенский колдун» хорошенькая опера; но вы согласитесь сами…

— Да что ж это значит? — прервал я, взглянув пристально на моего соседа, и лишь только было хотел спросить его, как он смеет так дерзко шутить надо мною, как вдруг увидел, что это давнишний мой знакомый, старик Волгин, страшный любитель музыки и большой весельчак. — Ба, ба, ба! — вскричал я, — так это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли!

вы ли это, Степан Алексеевич?

— Да, это я! — отвечал он очень хладнокровно.

— Вы приехали сюда также послушать репетицию завтрашнего концерта?

Сосед мой кивнул головою.

— Однако ж позвольте! — продолжал я, чувствуя, что волосы на голове моей становятся дыбом, — что ж это значит?.. Да ведь вы, кажется, лет шесть тому назад умерли?

— Извините! — отвечал мой сосед, — не шесть, а ровно семь.

— Да мне помнится, я был у вас и на похоронах.

— Статься может. А вы когда изволили скончаться?

— Кто? я?.. Помилуйте! да я жив.

— Вы живы?.. Ну это странно, очень странно! — сказал покойник, пожимая плечами.

Я хотел вскочить, хотел бежать вон, но мои ноги подкосились, и я, как приколоченный гвоздями, остался неподвижным на прежнем месте. Вдруг по всей зале раздались громкие рукоплескания, и Лауретта в маске и черном венецияне появилась на концертной сцене. Вслед за ней тянулся длинный ряд музыкантов — и каких, мой друг!.. Господи боже мой! что за фигуры! Журавлиные

шеи с собачьими мордами; туловища быков с воробьиными ногами; петухи с козлиными ногами; козлы с человеческими руками, — одним словом, никакое беспутное воображение, никакая сумасшедшая фантазия не только не создаст, но даже не представит себе по описанию таких гнусных и безобразных чудовищ. Особенно же казались мне отвратительными те, у которых были человеческие лица, если можно так назвать хари, в которых все черты были так исковерканы, что, кроме главных признаков человеческого лица, все прочее ни на что не походило. Когда вся эта ватага уродов высыпала вслед за Лауреттою на возвышение и капельмейстер с совиной головою в белонапудренном парике сел на приготовленное для него место, то началось настраиванье инструментов; большая часть музыкантов была недовольна своими, но более всех шумел контрабасист с медвежьим рылом.

— Что это за лубочный сундук! — ревел он, повертывая свой инструмент во все стороны. — Помилуйте, синьора Бальдуси, неужели я буду играть на этом гудке?

Лауретта молча указала на моего соседа; контрабасист соскочил с кресла, взял бедного Волгина за шею и втащил на помост; потом по-

ставил его головою вниз, одной рукой обхватил обе его ноги, а другой начал водить по нем смычком, и самые полные, густые звуки контрабаса загремели под сводом Ротонды. Вот наконец сладили меж собой все инструменты; капельмейстер поднял кверху оглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнул, и весь оркестр грянул увертюру из «Волшебной флейты». Надобно сказать правду: были местами нескладные и дикие выходки, а особливо кларнетист, который надувал свой инструмент носом, часто фальшивил, но, несмотря на это, увертюра была сыграна недурно. После довольно усиленного аплодисмента вышла вперед Лауретта и, не снимая маски, запела совершенно незнакомую для меня арию. Слова были престранные: умирающая богоотступница прощалась с своим любовником; она пела, что в беспредельном пространстве и навсегда, с каждой протекшей минутою, станет увеличиваться расстояние, их разделяющее; как вечность, будут бесконечны ее страдания, и их души, как свет и тьма, никогда не сольются друг с другом. Все это выражено было в превосходных стихах; а музыка!.. О, мой друг! где я найду слов, чтоб описать тебе ту неизъяснимую тоску, которая сжала мое бед-

ное сердце, когда эти восхитительные и адские звуки заколебали воздух? В них не было ничего земного; но и небеса также не отражались в этом голосе, исполненном слез и рыданий. Я слышал и стоны осужденных на вечные мучения, и скрежет зубов, и вопли безнадежного отчаяния, и эти тяжкие вздохи, вырывающиеся из груди, истомленной страданиями. Когда посреди гремящего крещендо, составленного из самых диких и противоположных звуков, Лауретта вдруг остановилась, общее громогласное браво раздалось по зале, и несколько голосов закричали: «Синьора Бальдуси, синьора Бальдуси! Покажитесь нам! Снимите вашу маску!» Лауретта повиновалась; маска упала к ее ногам… и что ж я увидел?.. Милосердый боже!.. Вместо юного, цветущего лица моей Лауретты — иссохшую мертвую голову!!! Я онемел от удивления и ужаса, но зато остальные зрители заговорили все разом и подняли страшный шум. «Ах, какие прелести! — кричали они с восторгом, — посмотрите, какой череп, — точно из слоновой кости!.. А ротик, ротик! чудо! до самых ушей!.. Какое совершенство!.. Ах, как мило она оскалила на нас свои зубы!.. Какие кругленькие ямочки вместо глаз!.. Ну, красавица!»

— Синьора Бальдуси, — сказал Моцарт, вста-

вая с своего места, — потешьте нас: спойте нам «Biondina in gondoletta».

— Да это невозможно, синьор Моцарт, — прервал капельмейстер. — Каватину «Biondina in gondoletta» синьора Бальдуси поет с гитарою, а здесь нет этого инструмента.

— Вы ошибаетесь, maestro di capella — прошептала Лауретта, указывая на меня, — гитара перед вами.

Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинул свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом, что кровь застыла в моих жилах.

— А что, в самом деле, — сказал он, — подайтека мне его сюда! Кажется… да, точно так!.. Из него выйдет порядочная гитара.

Трое зрителей схватили меня и передали из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать, как струны. Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция; и хотя правая нога моя была уже оторвана, а несмотря на это, в ту минуту как злодей капельмейстер стал ее настраивать, я чувствовал, что все нервы в мо-

ем теле вытягивались и готовы были лопнуть. Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль: так прекрасен, благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ритурнеля Лауретта запела вполголоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия: мне казалось, что я весь превратился в слух и, что всего страннее, не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала остальная нога моя: восторг ее доходил до какого-то исступления; каждый звук гитары производил в ней столь неизъяснимо-приятные ощущения, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочем, все движения ее соответствовали совершенно темпу музыки: она попеременно то с важностию кивала носком, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд… Ах, мой друг! вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал! Мне показалось, что череп мой рассекся на части, что из меня потянули разом все жилы, что меня нача-

ли пилить по частям тупым ножом… Эта адская мука не могла долго продолжаться; я потерял все чувства и только помню, как сквозь сон, что в ту самую минуту, как все начало темнеть в глазах моих, кто-то закричал: «Выкиньте на улицу этот изломанный инструмент!» Вслед за сим раздался хохот и громкие рукоплескания. Я очнулся уже на другой день. Говорят, будто бы меня нашли на площади подле театра; впрочем, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное; в Москве целый месяц об этом толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась мне после своей смерти: она умерла в Неаполе; а я, как видишь, мой друг, я жив еще», — примолвил с глубоким вздохом мой бедный приятель, оканчивая свой рассказ.

— Какова история? — спросил хозяин, поглядев с улыбкою вокруг себя. — Ай да батюшка Александр Иваныч, исполать тебе! Мастер сказки рассказывать!

— Помилуйте, Иван Алексеич! какие сказки? это настоящая истина.

— В самом деле?

— Уверяю вас, что приятель мой вовсе не думал лгать, рассказывая мне это странное приключение.

— Полно, братец! да это курам на смех! Во-

ля твоя, какой черт не хитер, а, верно, и ему не придет в голову сделать из одного человека контрабас, а из другого — гитару.

— Если вы не верите мне, так я могу сослаться на самого Зорина. Он, благодаря бога, еще не умер и живет по-прежнему в Петербурге, подле Обухова моста.

— В желтом доме? — прервал исправник.

— Вот этого не могу вам сказать! — продолжал спокойно Черемухин. — Может быть, его давно уже и перекрасили.

— Ах ты проказник! — подхватил хозяин. — Так ты рассказал нам то, что слышал от сумасшедшего?

— От сумасшедшего?.. Ну, это я еще не знаю! Зорин никогда мне не признавался, что он сошел с ума; а, напротив, уверял меня, что если доктора и смотрители желтого дома не безумные, так по одному упрямству и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара.

— Смотри, пожалуй! — вскричал хозяин, — какую дичь порет! А ведь сам как дело говорит — не улыбнется! Впрочем, и то сказать, — прибавил он, помолчав несколько времени, — приятель твой Зорин сошел же от чего-нибудь с ума! Ну, если в самом деле эта басурманка приходила

с того света, чтоб его помучить?..

— А что вы думаете? — сказал я. — Не знаю, как другие, а я не сомневаюсь, что мы можем иногда после смерти показываться тем, которых любили на земле.

— И, полно, братец, — прервал с улыбкою Заруцкий, — да этак бы и числа не было выходцам с того света!

— Напротив, — продолжал я, — эти случаи должны быть очень редки. Я уверен, что мы после нашей смерти можем показываться только тем из друзей или родных наших, к которым были привязаны не по одной привычке, любили не по рассудку, не по обязанности, не потому только, что нам с ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатии, по какому-то сродству душ…

— Сродству душ? — прервал Заруцкий. — А что ты разумеешь под этим?

— Что я разумею? Не знаю, удастся ли мне изъяснить тебе примером. Послушай! всякий музыкальный инструмент заключает в себе способность издавать звуки, точно так же как тело наше — способность жить и действовать; и точно так же как тело без души, всякий инструмент, без содействия художника, который влагает

в него душу, мертв и не может или, по крайней мере, не должен сам собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сделать опыт? Положи на фортепьяно какой-нибудь другой инструмент, например, хоть гитару, а на одну из струн ее — небольшой клочок бумаги; потом начни перебирать на фортепиано все клавиши одну после другой: бумажка будет спокойно лежать до тех пор, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинакую с той, которую издает струна гитары; но тогда лишь только ты дотронешься до клавиши, то в то же самое мгновение струна зазвучит, и бумажка слетит долой; следовательно, по какому-то непонятному сочувствию мертвый инструмент отзовется на голос живого. Попытайся, мой друг, изъяснить мне это весьма обыкновенное и, по-видимому, физическое явление, тогда, быть может, и я растолкую тебе, что понимаю под словами: симпатия и сродство душ.

— Ба, ба, ба! любезный друг! — сказал Заруцкий, улыбаясь, — да ты ужасный метафизик и психолог; я этого не знал за тобою. Вот что! Теперь понимаю: душа умершего человека с душой живого могут сообщаться меж собою только в таком случае, когда обе настроены по одному камертону.

— Ты шутишь, Заруцкий, — прервал исправник, — а мне кажется, что Михаила Николаич говорит дело. Я сам знаю один случай, который решительно оправдывает его догадки; и так как у нас пошло на рассказы, так, пожалуй, и я расскажу вам не сказку, а истинное происшествие. Быть может, вы мне не поверите, но я клянусь вам честью, что это правда.

А. Е. Зарин
Дар сатаны
1904
Рассказ

I

Было всего восемь часов вечера, когда Федор Андреевич возвращался к себе домой, — в первый раз в жизни в свою собственную квартиру, что забавляло и радовало его совсем по-детски.

Он добродушно кивнул дворнику в ответ на его почтительный поклон, деловым тоном спросил, не было ли на его имя писем, и степенным шагом прошел под ворота, с радостным трепетом сжимая рукой в кармане ключ от собственной квартиры!..

По довольно опрятной лестнице (хотя она служила для жильцов и парадной, и черной) он, не спеша, стал подниматься к себе в третий этаж, когда вдруг увидел на повороте господина, шедшего по лестнице впереди него. Невысокого роста, скорее полный, чем худой, в шляпе котелком и теплом пальто с рыжим вытертым (когда-то бобровым) воротником, господин этот, пыхтя и отдуваясь, подымался вверх, и Федор Андреевич несколько замедлил свой шаг. Когда господин поднимался на площадку третьего этажа, Федор Андреевич был от него ниже ступенек на шесть. Господин взошел на площадку, повер-

нул налево, и вдруг сразу смолкли и его шаги, и его сопение. Федора Андреевича это невольно поразило; он в два шага очутился на площадке и с изумлением огляделся: ни на площадке, ни на лестнице незнакомца не было. Федору Андреевичу такое исчезновение показалось подозрительным. С быстротой юноши он поднялся до площадки пятого этажа и спустился назад в полном недоумении: незнакомец исчез без следа. Ни одна дверь не стукнула, не открылась, мимо него таинственный незнакомец не проходил, — куда же он девался?

Но тут Федор Андреевич увидел на двери ярко вычищенную медную доску со своей фамилией, вынул из кармана ключ и, отворяя дверь в свою новую квартиру, сразу забыл о незнакомце и его таинственном исчезновении.

Федор Андреевич вошел в крошечную прихожую, тщательно запер дверь, повесил пальто и прошел в первую комнату своей квартиры.

Здесь он зажег одну лампу на переддиванном столе, другую на стене, третью на еще не убранном письменном столе и с наслаждением опустился на диван, созерцая свои владения.

Крошечная квартирка его имела всего две комнатки с коридором и кухнею, но для него этого

было вполне достаточно.

Большую комнату он назначил для занятий, еды и приемов. Между окон поместился письменный стол и кресло, в углу — этажерка, вдоль стены — книжный шкаф; напротив шкафа стал черный крошечный сосновый обеденный стол, над которым теперь весело горела стенная лампа с вертушкой; в углу деревянная колонна, под белый мрамор, с гипсовой фигурою Наполеона в его классической позе. Наконец, свободный угол комнаты (в третьем — стояла печка) заняла гостиная: стол, диван, два кресла на войлочном ковре с изображением крадущегося среди зарослей тигра.

На окнах висели занавески, на дверях — портьеры, в четырех корзинах стояли растения, а по стенам висели несколько гравюр и дюжины две кабинетных портретов в рамках. Все же в совокупности имело такой уютный, приветливый вид, что Федору Андреевичу был вполне простителен его самодовольный восторг.

Конец этим скучным путешествиям по меблированным комнатам с их шумом и гамом, с непрошеными знакомствами, с буйными или навязчивыми соседями…

В своей квартире человек всегда сам себе хо-

зяин.

И наконец, это уже собственность, оседлость… Растопив печку, заварив чай и ярко осветив комнату, как легко и хорошо можно поработать, помечтать и… вдохновиться…

Федор Андреевич был поэт.

При этих мыслях он взглянул на свой письменный стол, который, еще не убранный, казался каким-то унылым остовом, на пустую этажерку и книжный шкаф и тотчас вспомнил, что ему предстоит еще уборка.

Он бодро прошел в соседнюю крошечную комнату, предназначенную для спальной, переоделся и, вернувшись, занялся уборкой, для чего вытащил из стола все ящики, битком набитые всякими безделушками и бумагами, а из кухни перетащил с десяток свечных ящиков с книгами.

Письменный стол он убирал с особою тщательностью, как иная девица убирает свой туалетный стол, и в этом отчасти сказывался его характер.

А характер у него был прекрасный! Кажется, не было такого человека, который, познакомившись с ним, не полюбил бы его за его открытое сердце, за его громкий, искренний смех, за прямой взгляд его больших серых глаз.

А может быть, его любили и за то, что сам он

всех любил и причиненного ему зла никогда не помнил.

Испытав в молодости борьбу и лишения в таком горниле, как Петербург; без всякой поддержки прожив годы университетского учения, служа в одном из министерств уже шестой год без всякого движения, в то время как другие, гораздо менее его способные, перегоняли его, Федор Андреевич к 30 годам жизни сумел сохранить в своей душе веру в людей и всегда с горячим убеждением говорил, что в своей жизни ни разу не встречался с дурным человеком.

Знакомые слушали его с ласковой, снисходительной улыбкой и качали головами, а отходя от него, переглядывались и чуть заметно пожимали плечами.

Федор Андреевич был поэт, но не из тех, которые считают себя призванными нести на своих раменах все бедствия мира и потому вечно ноют; не из тех, которые, считая себя пророками, бичуют порок и проповедуют прописные добродетели, а просто — поэт, в рифмованных звуках изливавший впечатления своей души.

И все казалось ему прекрасным и радостным.

Тем более люди.

Среди окружающих его не было ни глупых,

ни злых, ни корыстолюбивых, ни завистливых, и если ему случалось слышать осуждение того или другого поступка своего ближнего, он всегда находил ему оправдание.

Про начальника отделения, где он служил, Василия Семеновича Чемоданова, говорили, например, что он черствый эгоист, который для своей карьеры не поступится ничем.

И самая фигура его, сухая, длинная, прямая как палка, облаченная в вицмундир без одного пятнышка, в сорочку, накрахмаленную так туго, что, переломись у него шея, голова держалась бы все так же прямо над стоячим воротничком; самая физиономия с выскобленною кожею на верхней губе и подбородке, с тщательно расчесанными баками, с презрительным взглядом из-за стекол золотого пенсне, с узким лбом и голым черепом; величественная походка аиста — все, казалось, подтверждало общее о нем мнение. Но Федор Андреевич с ним не соглашался.

Он указывал на массу дела, которую с легкостью исполняет Чемоданов; на огромную семью с доброй полдюжиной племянников и племянниц, которых он содержит, на всем известные факты его неподкупной честности. И, совершенно забывая все злые и дурные о нем рассказы,

искренно уважал его.

В то время когда другие смеялись над манией Петра Петровича Штрицеля мнить себя писателем, он горячо отстаивал за ним это благородное звание, указывая на целый ряд его стишков, напечатанных в разных журналах.

Павла Ивановича Тигрова, вопреки общему мнению, он считал за умного человека, не обладающего только даром слова, и даже Никодима Никодимовича Пузана, признанного всеми за лицемера, он считал возвышенной душою.

Словом, все его знакомые были милейшие люди; все, что они делали, казалось ему прекрасным, и даже лица, встречавшиеся на улице, казались ему всегда симпатичными и добрыми.

В то же время Федор Андреевич не был глуп, как думали некоторые из его знакомых. Нет, это было просто свойство его души — видеть в человеке прежде всего его хорошие стороны.

Когда Федор Андреевич закончил уборку, было уже 12 часов ночи. Он довольным взглядом оглядел свой письменный стол, ярко освещенный кабинетной лампой и теперь прибранный; посмотрел на шкаф, за стеклом которого строгими рядами вытянулись корешки книг; на этажерку с журналами и бумагами, — и устало потянулся.

Потом, совершив свой ночной туалет, он загасил лампы и вошел со свечою в спальную, где тотчас и улегся в постель. Но едва он загасил свечу и плотнее закутался в одеяло, как произошло нечто удивительное…

II

Прежде всего ему показалось, что в соседней комнате мелькнул свет. Он торопливо встал, думая, что одна из ламп не погасла; но в комнате было совершенно темно и торжественно-тихо. Он улегся, и тогда до его слуха явственно донеслось шарканье туфель. Они были, вероятно, без задков, и, время от времени, в тишине слышался стук набоек.

Федор Андреевич снова встал, зажег свечу, вышел в соседнюю комнату, крошечную переднюю, прошел по коридору в кухню и вернулся назад. Везде было тихо и пусто, только в кухне за дровяным ящиком суетливо бегали мыши.

Федор Андреевич не был ни труслив, ни суеверен. Это странное шарканье он приписал акустическим свойствам своей квартиры и спокойно улегся снова в постель.

Но едва он погасил свечу, как в коридоре раздались опять те же звуки. Как будто кто-то вышел из кухни и медленной, старческой походкой шел по коридору к передней. Федор Андреевич невольно откинул одеяло и насторожился. Темнота начинала пугать его. Он встал, поднял

занавеску и опять улегся.

«Теперь гуляй», — усмехнулся он, взглянув на бледную полосу света, которую проложил яркий месячный луч. Луч шел вдоль стены, освещая стул против кровати, платяной шкаф, до самого угла, где стоял умывальник.

Федор Андреевич закрыл глаза. А туфли шаркали… они уже прошли коридор, прихожую, шаркают по соседней комнате и, наконец, здесь, подле кровати.

Федор Андреевич открыл глаза и вдруг с легким криком поднялся и сел на постели. Он почувствовал, как кожа стягивается у него на черепе, шевеля волосы, и по спине пробегает холодная дрожь.

То, что он увидел, показалось ему до невероятности странным. В полосе света мимо него, шаркая туфлями, прошел маленький, сморщенный старик в пестрой ермолке и халате; он дошел до стула и сел на него, прямо против кровати. Сел, положил желтые руки себе на колена и вперил тусклый взор в Федора Андреевича, который в этот миг с своим бледным испуганным лицом сам казался выходцем с того света.

И они молча смотрели друг на друга в голубоватом сиянии лунного света…

Виденье стало казаться Федору Андреевичу реальным. В слабой, скорченной фигуре старика не было ничего демонического, а его тусклый взгляд был совершенно безобиден.

Федор Андреевич слегка оправился, но не мог еще совладать с своим голосом и хриплым шепотом спросил:

— Кто вы и что вам надо?..

— Вы мне будете помогайть; я — вам... Я вам много хорошего сделаю! О! — ответил дребезжащим голосом старик, хотя фигура его осталась неподвижной, а сморщенное лицо мертвенно-покойно.

— Кто же вы? — повторил уже явственнее свой вопрос Федор Андреевич.

— Я? Карл-Эрнест-Иоганн-Фридрих Пфейфер. Фридрих Пфейфер, аптекарь.

— Как вы попали сюда?

— Я? Я тут шестнадцать лет! Мне нет покоя. О, шестнадцать лет! Биль здесь много людей, глюпых людей. Я ходил на всех. Все боялся. Глюпые люди! Ви мне будете помогайть, я вам. Я от вас покой иметь буду. О, шестнадцать лет... на ногах... здесь... ужасно!.. — И в крошечной комнате послышался как бы вздох.

— Как же я дам вам покой? — спросил Федор

Андреевич и опустился на подушки, приняв полулежачее положение.

— Ви вынимайть меня! У меня есть штук! О, какой! Я буду открывайте вам, а вы меня — вон.

— Откуда?

— Здесь! Шестнадцать лет здесь… Карл Иваныч Шельм… о, самый настоящий Шельм! У него аптек, хороший аптек на Гороховой, и он — таракан! О, хитрый шельм!..

— Я ничего не понимаю, — с недоумением произнес Федор Андреевич.

— О, это длинный историй. Я вам буду рассказывайт. Вот…

В это время где-то за стеной часы глухо пробили три, и старичок вдруг заволновался. Очертания его стали бледнеть, расплываться; вместо старичка появилось бледно-светящееся облако, которое медленно растворилось в воздухе…

Раздался оглушительный звонок, от которого Федор Андреевич проснулся и вскочил с постели. Зимнее солнце ярко светило в его окошко. Он было взглянул на часы. Стрелки показывали 10. Наскоро накинув на себя пальто, заменявшее ему халат, Федор Андреевич отворил дверь и впустил дворника, которого вчера еще договорил прислуживать по утрам, а потом снова лег в постель,

чувствуя, что не выспался. Сон или видение продолжало как-то странно беспокоить его.

По коридору стучали сапоги дворника, из кухни доносилась его возня с самоваром. Потом он вошел в спальню с охапкой дров, уложил их в печь и, присев на корточки, стал разжигать поленья.

— Послушай, — заговорил Федор Андреевич: — тебя как звать?

Дворник обернул к нему свое молодое безбородое лицо и ответил:

— Иван!

— Скажи, пожалуйста, Иван, отсюда давно съехали прошлые жильцы?

— А што? — и Иван как-то странно взглянул на Федора Андреевича.

— Да так спрашиваю. Давно?

— Месяц, как съехали.

— А долго жили?

— Жили неделю… задаток зажили.

— А раньше были жильцы?

— Были.

Дворник отвечал как-то неохотно и каждый раз после ответа с удвоенным старанием начинал дуть в печку.

— И жили тоже неподолгу? — продолжал допы-

тываться Федор Андреевич.

— Всяко было…

— Ну… самое большее?

— Месяц жили.

— А больше?

— Больше не жили.

— Почему же уезжали?

Дворник раздул пламя и поднялся с полу. При последнем вопросе он усмехнулся и ответил:

— Боятся, слышь! Говорят, будто неладно тут, старик какой-то бродит. Ну и пужаются.

Потом, постояв немного и видя, что барин лежит молча с закрытыми глазами, сказал:

— Я все изготовил. Извольте запереть! — после чего осторожно вышел из комнаты.

Федор Андреевич тотчас встал. «Значит, не сон, — решил он, заперев дверь за дворником и начиная одеваться: — выходит, у меня квартира с привидением. Вот бы Прибыткову»! При этой мысли он улыбнулся, и к нему вернулось обычное хорошее расположение духа.

III

В 12 часов Федор Андреевич надел шубу и пошел на службу. У ворот он приостановился и сказал дворнику, чистившему панель:

— Если ко мне, Иван, придут письма, ты их возьми к себе.

— Слушаю-с! — ответил дворник.

«Славная физиономия, — подумал, отходя, Федор Андреевич, — открытая, честная. Чисто русская!»

Он дошел до угла и остановился подле газетчика.

— Будешь каждое утро доставлять мне газету, — сказал он ему, подавая визитную карточку. — Сейчас по этой улице, дом номер 17-й!

— Слушаю-с, — ответил газетчик, снимая фуражку.

— Да, только, пожалуйста, не запаздывай с ней, — прибавил Федор Андреевич: — не позднее 10 часов.

— Будьте покойны!

Федор Андреевич двинулся дальше.

— Ба, Федор Андреевич, вы здесь? — раздался подле него возглас, — каким способом?

Федор Андреевич обернулся и с радушной улыбкою поспешил пожать руку своего сослуживца, Орехова.

Необыкновенно высокого роста и необыкновенной худобы, Орехов походил на вешалку, на верхушку которой поставлен цилиндр, а на рогатку повешена изрядно потрепанная шинель. Лицо его представляло как бы один профиль, да и то очень печального вида, с длинным загнутым носом.

— Каким способом? — ответил Федор Андреевич, идя рядом с Ореховым: — здесь поселился, у вас; квартиру снял. Прехорошенькая, две комнатки…

— С новосельем, значит! — произнес Орехов унылым тоном и опустил голову, завертываясь в шинель; словно сказал своим близким «прощайте» и закутался в саван. Унылый тон и мрачный вид никогда не покидали Орехова, и если случалось ему на миг оживиться и придать себе развязный вид, то, спохватившись, он тотчас с удивительным искусством изображал опять человека, приговоренного к смертной казни.

Федор Андреевич прошел с Ореховым в совершенном молчании улицу и наконец, завертывая

за угол, произнес стереотипную фразу:

— Как поживаете? Как здоровы?

Орехов словно ждал этих вопросов и сначала испустил протяжный вздох, а потом заговорил тоном жертвы, покоряющейся судьбе:

— Все так же! Работаю до пяти, потом работаю до 10, потом до 2, и так день в день. Работник-то, батюшка, я один, а семья — сам-шесть! О-ох! Жена не помощница. Денег не хватает. Это, голубчик, не по-вашему. Да! Здоровье? Разве я смею хворать? не смею: значит, и здоров! — И, попав на любимую тему, он уже говорил всю дорогу, не умолкая. По его словам, он представлял собою клячу, которую впрягли в фургон, набитый седоками, и гонят без устали вперед и вперед. Его тон, фигура, самое содержание беседы вызывали всегда сочувствие в слушателях, и он, — как другие при общем внимании гордо выпячивают грудь, становятся развязнее, — по мере речи становился все меланхоличнее и наконец смолкал, на половине фразы прерывая себя тяжким вздохом.

Федор Андреевич чувствовал горячую жалость к Орехову, и ему даже было немного совестно за свою сравнительно обеспеченную жизнь.

Они подошли к подъезду и вошли в помещение министерства. Бойкие сторожа предупредитель-

но бросились им навстречу.

Федор Андреевич разделся и, пока Орехов сматывал со своей длинной тонкой шеи бесконечное кашне, легко взбежал по роскошной лестнице на широкую площадку, на ходу пожимая руку то одному, то другому, и, свернув направо, по широкому коридору направился к своему отделению.

В отделении все уже были в сборе, и он стал обходить всех по очереди.

Штрицель, красивый блондин, атлетического сложения, близорукий, как крот, сидел нагнувшись у стола и что-то писал, рискуя носом стереть все написанное.

— А! — широко улыбаясь, приветствовал он Федора Андреевича, — а я на злобу дня пишу. Послушайте!

Он взял листик и прочел, после каждой строчки с вызывающей улыбкой взглядывая на Федора Андреевича.

— А дальше, — заговорил он, откладывая листик, — рифма будет: буры. А? Каково? — и он засмеялся.

— Мило, — улыбаясь сказал Федор Андреевич и быстро выпрямился. Журавлиным шагом, не шевеля головою, в комнату вошел Чемоданов и степенно обошел всех служащих, подле каждо-

го поднимая несгибающуюся руку. После этого он скрылся в своей комнате, и тотчас послышался его скрипучий голос:

— Яков Валентинович!

Старший помощник схватил бумаги и суетливо шмыгнул в комнату начальника.

Федор Андреевич отошел к своему столу. Штрицель снова приложил нос к листику бумаги и видимо задумался над строкой.

Сторож на огромном подносе внес стаканы, налитые чаем; в комнате все занялись завтраком. К Федору Андреевичу подошел Тигров, брюнет с громадной, круглой, как шар, головою, на которой короткие жидкие волосы вились, как у барана. Широко улыбаясь, он сел у стола и, нагнувшись к Федору Андреевичу, заговорил:

— А я, знаете, вчера одну курсистку как срезал?

— Как?

— Я, знаете, показал ей аршина два от полу и спрашиваю: вы видели такого петуха? Она говорит: нет. Я, говорю, тоже не видел! Хохотали весь вечер!

Федор Андреевич улыбнулся.

— Да, знаете ли, — уже с серьезным видом сказал Тигров, — она больно развязна была. Невозможно! Надо было срезать! Ну я ее: чик!.. — и он,

сделав соответствующий жест, опять засмеялся.

Чай отпили; закурив папиросу, Федор Андреевич вышел пройтись по коридору. К нему подошел Хрюмин, невысокого роста с сгорбленной фигурою и низко наклоненной головою, словно его ударили по шее. Разговаривая, он крутил ею и постоянно хихикал.

— Жалко, что ты от Штрицеля ушел вчера рано, — сказал он: — было весело!

— А что?

— Так. Он стихи забавные читал, потом Юматов пел.

— Волком выл?

— Нет, пел, — и он захихикал.

— А ты долго сидел?

— Нет. Катька домой захотела. В десять ушли.

Катькой он звал свою жену, и это тоже очень нравилось Федору Андреевичу, как проявление добрых товарищеских отношений к жене.

Подле бухгалтерской они встретили Жохова, настоящего слона, старавшегося держать себя по-светски.

— Ах, братцы, — воскликнул он дружески: — какая вчера у графа Заметова игра была! — и при этом он оглянулся на проходивших мимо чиновников.

— В макао? — вертя головою, спросил Хрюмин.

— Ну, понятно! По 200 рублей рвали!

— Ты-то что сделал?

— 65 выиграл! — и лицо Жохова осветилось самодовольной улыбкой.

«Славные ребята, — думал Федор Андреевич, возвращаясь к своему столу и садясь за работу. — Честнейшия души, открытые, добрые!..»

И, всеми довольный, он погрузился в составление какой-то бумаги.

Когда он окончил составление этой бумаги, часы уже пробили пять, и служащие, торопливо прощаясь друг с другом, вереницею потянулись по коридору к лестнице.

— Федор Андреевич! — раздался оклик Чемоданова.

Федор Андреевич быстро встал и прошел в комнату своего начальства.

Чемоданов движением головы указал ему на стул и заговорил скрипучим голосом:

— Я вас пригласил, чтобы порадовать. Вы давно у меня служите и остаетесь, собственно, без движения. Так вот…

Он побарабанил пальцами по столу и продолжал:

— От нас Якова Валентиновича берут. В финан-

совое отделение… так я решил ходатайствовать о вас. Думаю, что вы оправдаете мой выбор…

Федор Андреевич покраснел от удовольствия и торопливо ответил:

— Я никогда не манкировал службою, теперь же… поверьте… всегда… — он сбился и замолчал.

Чемоданов изобразил на своем лице нечто вроде улыбки и сказал:

— Ну и отлично! Только до поры до времени это секрет!

Он протянул руку Федору Андреевичу, и тот вышел из его кабинета сияющий, как праздник.

В коридоре с ним сравнялся Жохов.

— Что это ты такой?

Федор Андреевич не удержался.

— Повезло сегодня, — сказал он радостно: — у нас, оказывается, Горлова переводят; так Чемоданов меня на его место!

— Тебя?! — вспыхнув, воскликнул Жохов, но тотчас сдержался и, дружественно хлопая его по плечу, сказал: — Отлично! Поздравляю! Куда же его переводят?

— В финансовое отделение!

— Это к Сербину? А! Чемоданов уже просил за тебя?

— Нет, собирается.

— А! собирается. Ну, поздравляю, дружок, поздравляю! Ты не болтай только никому! — тихо прибавил он и подошел к вешалкам.

Федор Андреевич дружески кивнул ему и стал поспешно одеваться.

Был вторник, и он обедал у Чуксановых.

Проезжая мимо кондитерской, он остановился и купил коробку конфет.

Чуксановы жили на Петербургской стороне, в собственном, очень хорошеньком домике.

Все семейство состояло из отца, матери, дочери и сына, и, понятно, для Федора Андреевича вся притягательная сила заключалась в дочери, хорошенькой Нине Степановне, которая два года как окончила гимназию и ходила от нечего делать на музыкальные курсы.

Сам Чуксанов, Степан Африканович, служивший интендантом в славную турецкую войну, вышел в отставку после кампании и, приобретя недвижимость на Петербургской стороне, облекся в халат и поселился безвыездно в задней комнатке своего домика. Небольшого роста, круглый как шар, с крошечными седыми баками на пухлом лице, он казался олицетворением добродушия, а между тем старожилы Петербургской

стороны вспоминали былые годы, когда к нему вереницею шли убогие отставные чиновники и вдовы с пенсионными книжками, и говорили, что ни отцы их, ни деды не знавали такого скаредa и кровопийцы.

Его жена, Глафира Иларионовна, высокая и сухая как щепка, всегда в темном платье и крахмальном чепце, с лошадиною физиономией и нежным расслабленным голосом, казалось, весь остаток своей жизни посвятила посту и молитве; а между тем соседи единодушно заявляли, что не было и не будет такой сплетницы, как эта Чуксаниха, а прислуга при всяком случае заявляла в мелочной лавочке, что Господь Бог за грехи определил ее на такое каторжное место.

Зато дети их, сын Анатолий, студент-медик 5-го курса, и 20-летняя Нина, пользовались в околотке уважением.

Федор Андреевич репетировал Анатолия, когда тот был в шестом классе, и с той поры привязался к семье Чуксановых, главным образом к Нине, этой красивой девушке с энергичным взглядом карих глаз, с характером несколько резким, но, как казалось Федору Андреевичу, идеально прекрасным.

В этот день он, по обыкновению, провел пре-

красно у них время. После обеда старики пошли отдохнуть, а он остался вдвоем с Ниной. Нина играла. Свет лампы, прикрытой абажуром, слабо освещал комнату. В комнате было тепло, уютно, и искусная игра Нины погружала ум в сладкую мечтательность. Федор Андреевич не сводил с нее глаз. Она сидела прямо, с устремленным вперед недвижным взглядом, и ее изящный профиль казался драгоценной камеей на темном фоне обоев.

Федор Андреевич слушал музыку, до него доносился мерный звук колоколов, призывавших к вечерне, и сердце его переполнялось нежностью. Ему хотелось плакать и молиться, упасть перед Ниной на колена и целовать ее руки, — но в комнату, шаркая туфлями, вошел Степан Африканович, и очарование сразу разрушилось.

Все же, когда, напившись у них чаю, Федор Андреевич направлялся домой, сердце его было полно мыслями о Нине.

IV

Придя домой, он переоделся, сел к столу и торопливо набросал:

Люблю тебя все жарче и сильней
За прелесть дум, навеянных тобою,
За чистоту молитв моих порою
Все за тебя в безмолвии ночей;
За те мечты, которые рождались
В моей душе под взором милых глаз,
За слезы те, что часто проливались
Все за тебя в вечерний тихий час…

Он перечел стихотворение и задумался. Перед ним, как живая, стояла Нина, и он любовался ею, стараясь проникнуть в ее душу. «Любит или не любит»? — думал он про нее, и ему казалось, что любит.

С этими мыслями он лег в постель и загасил огонь.

В середине ночи он вдруг проснулся, чувствуя на себе чужой взгляд, и тотчас вспомнил прошлую ночь. Быстро повернувшись на другой бок,

он увидел прямо перед собою, на том же стуле, что и вчера, того же старика. Он сидел так же неподвижно, положив бледные руки на колена и устремив перед собою тусклый взор.

Странная вещь! Федор Андреевич на этот раз не испытал решительно никакого страха и чувствовал себя совершенно спокойно, словно пришел к нему самый задушевный приятель и они сидят у стола за стаканом вина.

— Здравствуйте, — приветливо сказал Федор Андреевич. — Ну, сегодня вы, вероятно, расскажете мне свою историю?

Старик чуть заметно кивнул головой, и в комнате раздался тихий голос:

— О, ja! Эту ночь мы успеем. Вот. Слюшайте.

Федор Андреевич приподнялся, подбил себе под бок подушку и облокотился на руку, а старик медленным, ровным голосом, без малейшей интонации, начал свой удивительный рассказ, довольно сбивчиво, но все-таки настолько ясно, что сущность его можно было усвоить.

— Это странный дель, — заговорил он: — и ви может не веряйть, но я буду доказывайть вам и дам такой талисман. Да! Ви может себе карьер делайть и будете для всякий особ ошень приятный господин. Да!

— В чем же дело? — перебил его Федор Андреевич.

— Дель? Большой дель! Я биль у мой дядя, Густава Пфейфер, в аптек, и я много ушился, а потом занимался тайной наукой, и у меня била книг. О, какой книг! Я ее шитал и звал Мефистофель, и он мог все делайть: элексир делайть, помад, красок. Все!.. И биль еще аптекарь. Карл Иваныч Шельм. О, настоящий Шельм! Да! и у дяди била Эмма, дочь, фрейлейн Эмма…

В комнате пронесся протяжный вздох.

— Вы любили ее? — спросил Федор Андреевич.

— О, ja! Я даваль за нее душу и хотел жениться, и дядя даваль с ней аптек и говорил: «Я отдыхать буду!» Только он говорил, что надо что-нибудь изобретайть такое… и я думаль, много думаль и говориль Шельм. Он говориль: «Я твой друг!» И я вериль! Я говорил ему про тайный наук, про свой книг, и он говориль: «Фридрих, мужайсь!», и я мужалсь. Да! Я доставал себе слюн сатаны. Да. И делал кристаль!

— Что? — изумился Федор Андреевич.

— Слюн от шорт. Мефистофель! — ровным голосом ответил старик. — Когда на земле бывайть ошень худой шеловек, канайль, и ему удивляйтся даже шорт, он плюет ему в глаза. Тьфу! И тогда

тот делайтся gross канайль! Он видеть все души, как в зеркал, и делайть, чтобы бить приятным. Тот любит лесть, и канайль ему льстит; тот любит, чтобы всех ругайть, и канайль всех ругайть, и тогда нравится и идет. Выше, выше! Генерал! Такие есть. Много! Им шорт в глаза плевал. Тьфу...

— И вы?..

— Вот, — ответил старик: — я читаль свой книг и узналь, как можно удивить шорт, и он плевал. Я собирал и делал большой кристаль и потом хотел толочь в ступке и продавайть. И всякий, кто хочет быть канайль и делать карьер, покупайть и видит шеловека насквозь и делайть все, что нравится. Да!.. И я биль рад и бросился на шей Шельм и кричал: «Милый Карл, я достал слюн сатаны, шорт!» И он целоваль меня, и ми оба плакаль и пили пиво. И я утром хотел идти говорить дяде и брать за собой Эмму и сиял. И пришел Карл и кричаль: «Отдай кристаль!», а я спрятал кристаль. И он меня убиль и положиль в стен и замазаль. Да!

В комнате опять пронесся вздох.

— И вы в стене? — испуганно спросил Федор Андреевич.

— Ja! в стене! 16 лет! и все на ногах. Я в землю

хочу, лечь! Он досталь мой книг и шитал ее и заговорил меня, а потом женился на Эмме, и теперь нет Пфейфер, а есть Шельм. Аптек Шельм!

— И он взял кристалл?

Что-то вроде смеха послышалось со стороны старика.

— О, нет! Я догадалсь и заговариваль. Кристаль лежить, а Шельм его ищет. Он приходить каждый ночь и шарит везде.

— Приходит? Куда?

— Здесь! Он идет, потом — пфа! Делается таракан и ищет! Везде ищет! До полночи ищет, а потом — пфа! Снова Шельм и идет в аптек. 16 лет ищет! Ви мне теперь будьте помогайть, а я вам кристаль дам! Да! Ви будете карьер делайть!..

— Как же я могу помочь вам; я не знаю! — с чувством разочарования сказал Федор Андреевич.

— О, пустяк! Вовси пустяк! Легкий штук!

— Но как?

— Ви будете ловить…

— Я? Аптекаря?!

Федор Андреевич даже приподнялся в постели.

— Ну, ну! Только тогда, как он станет таракан. Пфа — и в коробочка!

Федор Андреевич кивнул.

— И потом что?

— Все! 12 часов, он не Шельм — и заговор нет! Я буду свободный! Кристаль у вас! Все!

— Но ведь вы… убитый?.. Мертвец! — с недоумением произнес Федор Андреевич.

— Я? нет. Дюша нет. Тело…

— А оно куда денется?

— Я уношу его и брошу…

И что-то вроде смеха послышалось в комнате.

За стеной раздался медлительный бой часов.

— Ловите таракан! Ловите! Кристаль ваш! — словно вздох пронеслось в воздухе, и опять вместо старичка образовалось бледное светящееся облако, которое медленно расплылось по комнате.

И едва он скрылся, как Федор Андреевич облегченно вздохнул, с недоумением обвел комнату взглядом, и все происшедшее показалось ему бредом.

Слюна сатаны, заклятие, два аптекаря, таракан, душа, убирающая тело…

Положим, постоянно толкуют об участии в наших судьбах таинственных сил. Какой-то почтенный иеромонах выпустил в свет книгу, в которой до всеобщего сведения доводит все проделки чертей и обстоятельно описывает

все образы, какие они принимают для уловления душ; некий Карышев, постепенно сняв все оболочки с души, обнажил ее совершенно и, шаг за шагом, проследил все ее странствования по иным планетам, описав подробно ее времяпровождение; но все-таки…

И Федор Андреевич заснул с скептической улыбкой на губах.

Но скептицизм его скоро кончился.

Из ночи в ночь старик не давал ему покоя, справляясь об успехе его ловли, и каждый раз просиживал на стуле до урочных трех часов, оглашая комнату протяжными вздохами.

Это становилось тяжело, и однажды Федор Андреевич твердо решился приняться за ловлю. Укрепил же его в этом решении, главным образом, Яков Фомич Чрезсмыслов, которого он часто встречал на четверговых вечерах у Ивана Антоновича Хрипуна.

Яков Фомич Чрезсмыслов был довольно даровитый архитектор, но занимался не столько архитектурою, сколько спиритизмом. Он был знаком с Бутлеровым, Вагнером, Аксаковым, Прибытковым, находился в переписке с Круксом, Цельнером, присутствовал на сеансах с Юмом, Слэдом, Евзапией Палладино, со всеми медиу-

мами, включительно до Самбора и Яна Гузика, и верил всему, включительно до гомеопатии.

Невысокого роста, полный, с мясистым лицом, на котором росла редкая щетинистая борода, щеки которого отвисали почти до плеч, а маленькие серые глаза прятались под угрюмо нависшими бровями по сторонам красного, изрытого оспою носа, — он походил на того странного духа, вызванного лампою Аладдина, которого можно видеть на картинке в детском издании 1001 ночи.

Федор Андреевич чувствовал к нему всегда невольное почтение и, ввиду его близкого знакомства со всем таинственным, решился узнать его мнение относительно всего, происшедшего с ним.

Он улучил минуту, когда Чрезсмыслов, погруженный, быть может, в созерцание душ на планете Юпитере, одиноко сидел в углу хозяйского кабинета, и, подойдя к нему с своею открытой улыбкой, присел на соседнее кресло и заговорил с ним робким голосом ученика, жаждущего поучения от учителя.

— Простите, Яков Фомич; я, может быть, нарушил течение ваших мыслей, но мне хотелось бы узнать…

Яков Фомич медленно поднял лохматые брови, вяло взглянул на Федора Андреевича и глухо произнес:

— Сделайте одолжение, — после чего опять опустил брови и словно задремал.

— Скажите, пожалуйста, Яков Фомич, возможно ли, действительно, появление человека в его земной оболочке, спустя 16 лет после его смерти, в том же халате и туфлях? — спросил Федор Андреевич и даже слегка нагнулся к Чрезсмыслову в ожидании от него ответа.

— Вполне, — равнодушно ответил Яков Фомич. — К одной вдове являлся покойный муж в домашнем пиджаке. Она помнила, что у пиджака не было двух пуговиц. И что же? Они оказались пришитыми!

Чрезсмыслов поднял брови, в глазах его мелькнуло вроде оживления, и он продолжал:

— К полковнику К. до сих пор является его боевой товарищ, поручик N., убитый под Ловчей. Сначала почти новый сюртук его теперь совершенно истрепался и висит лохмотьями. Одна дама, некая Б…

Чрезсмыслов друг за другом рассказал случаи явлений с того света, пока наконец Федор Андреевич не решился прервать его вопросом:

— Что их побуждает посещать живых?

Яков Фомич пожал плечами.

— Разные причины, — ответил он, — иногда обещанье, иногда тоска по любимым людям, но чаще что-нибудь невыполненное при жизни. Также бродят души непогребенных. Например, один нотариус, почтенный господин С…

Федор Андреевич вздрогнул и не расслышал рассказа, занятый своими мыслями.

Чрезсмыслова он считал авторитетом, и тот безошибочно указал на причину появления старика.

«Значит, есть что-нибудь», — мелькнуло в уме Федора Андреевича, а Чрезсмыслов продолжал свои удивительные рассказы вплоть до того момента, пока Хрипун не пригласил их к ужину.

Федор Андреевич сел рядом с Чрезсмысловым и, когда подали десерт, передавая грушу Якову Фомичу, спросил его:

— Скажите, в тех случаях, когда эти привидения указывали на что-нибудь, передавали что-либо, бывали обманы с их стороны, мороченье?..

— Никогда! — резко ответил Чрезсмыслов. — Капитан корабля Ф. увидел однажды в рубке утонувшего три года назад повара. Он являлся три раза и потом сказал ему…

В это время Иван Антонович склонился между ними и налил им малаги.

Но Федору Андреевичу и не важно было окончание рассказа.

Решение его созрело.

V

Поймать таракана! Это не представляет никакой трудности, если тараканов за печкою и на полках в любой кухне несметные легионы, но поймать из них одного, и именно того, который будет указан, — это уже задача.

А ко всему если еще таракан этот обладает умом взрослого да изворотливого человека? При этой мысли Федор Андреевич совершенно терялся.

Вернувшись от Хрипуна, он лег, думая о поимке таракана, когда над его ухом раздался голос старика: «Лови при выходе!»

Федор Андреевич быстро открыл глаза. За стеной пробило три часа.

Как не пришла самому ему эта простая мысль!

Ведь только один таракан уходит из квартиры в 12 часов ночи, чтобы за порогом двери обратиться в Карла Шельм и вернуться в свою аптеку!

И Федор Андреевич даже засмеялся от удовольствия.

Каждое впечатление можно было читать на его лице, как в книге; и, когда он пришел на службу, Штрицель первый спросил его:

— Что это вы сияете так, словно в газетах написали о вас хвалебный фельетон!

— Лучше, — засмеялся Федор Андреевич, — но тсс!.. Это пока секрет!

Потом, встретясь в коридоре с Хрюминым, которого считал своим товарищем, он взял его под руку и, смеясь, сказал ему:

— Хотел бы ты, Ваня, получить в дар способность видеть человеческую душу?

Хрюмин хихикнул и махнул рукою.

— Нет, на что мне эта способность!

— Как? — удивился Федор Андреевич. — Ты, встретившись с человеком, сразу узнаешь, что он такое: добрый или злой, умный, глупый, жадный; все мысли его!

Хрюмин засмеялся и завертел головою.

— Чушь, чушь! — сказал он. — И какая мне польза в этом.

Но Федор Андреевич смотрел на это иначе.

— Ах, Ваня! А по-моему, это величайший дар. Ты будешь знать все, все… Что иной таит даже от себя, ты узнаешь: заботы, огорчения; то, что мучает иной раз душу человека, — все будет перед тобою, как в зеркале! Когда я получу эту способность…

Тут Хрюмин замахал руками, завертел головою

и захихикал.

— Ну, зарапортовался, зарапортовался! Перестань!

Федор Андреевич спохватился и замолчал, но в это время к ним подошел Жохов и с снисходительной улыбкой спросил:

— Чему вы тут смеетесь?

Хрюмин, продолжая смеяться своим жиденьким смехом, махнул рукою:

— Да вот! Федя хвастает, что скоро получит дар видеть насквозь души своих знакомых.

Лицо Жохова вспыхнуло, и он завистливо и недоверчиво посмотрел на Федора Андреевича.

— Правда? Ну и везет тебе!

Федор Андреевич смутился.

— Я пошутил, — сказал он. — А ведь хорошо бы?

Жохов энергично кивнул.

— Еще как! Что бы сделать можно было, беда! — и он встряхнул головою.

— А что?

Жохов даже удивился.

— Что? Все! — ответил он и с горячностью заговорил. — Ведь тогда бы у меня всякий в руках был! У иного на душе пакостей всяких… я их все знаю. Иной только и думает о своей красоте…

я знаю. Подхожу к директору, читаю в его душе и жарю, как по писаному, — все в точку! Каждое слово маслом по сердцу! А ты: что? Да все можно сделать!..

Мысли о таракане не давали Федору Андреевичу даже заниматься как следует. В голове то составлялся план поимки таракана, то мелькали мысли, как он с кристаллом придет к Чуксановым и узнает, любит ли его Нина.

По окончании службы к нему подошел Штрицель.

— Вы пойдете обедать к Пузану? — спросил он. — Сегодня его рождение. Я хотел вас попросить…

Федор Андреевич вздохнул.

— Не могу! Я сегодня занят, очень занят!

— У него сегодня свидание, — засмеялся Тигров: — от этого он так и сияет!

— Досадно, — сказал Штрицель, — я думал пойти с вами. Как вы находите: можно ему поздравление послать?

— Отчего же! Пошлите!..

По дороге Федора Андреевича нагнал Орехов и начал свою обыкновенную речь:

— Вот сегодня уже под наградные занял. Мясник душит — ему отдай. Дрова вышли. Ох,

не женитесь! Каторга. Работник один, а ртов много. Всем подай! Заболеешь — нищета. Доктора говорят: отдохните. Ха-ха-ха! Отдохнем в могиле, так-то…

Он вздохнул так, словно это был его последний вздох, и начал снова:

— Всем говорю: не женитесь! Это хорошо богатым.

Федор Андреевич шел рядом с ним и не слышал его слов, занятый своими мыслями. Поравнявшись с воротами, на которых красовалась доска с надписью: «домашние обеды», он пожал руку Орехову и вошел в кухмистерскую.

В этот день ему было решительно все равно, где бы ни пообедать.

Потом он пошел к себе спать и, выспавшись, снова вышел из дому напиться чаю и приготовить все необходимое для ловли. План уже созрел в его голове.

Он купил кнопок и патоки.

Был уже девятый час, когда он возвращался домой, и вдруг на лестнице, на один марш выше, он увидел того же толстяка, которого видел в первый вечер своего новоселья.

В той же шубе с скверным меховым воротником, в том же котелке на огромной голове, так же

пыхтя и отдуваясь, этот господин медленно полз вверх по лестнице.

«Он»! — словно молнией сверкнуло в голове Федора Андреевича, и он замедлил шаги и затаил дыхание.

Как и тогда, в первый вечер, толстяк поднялся на третий этаж и почти тотчас на лестнице воцарилась тишина: шаги смолкли, пыхтение пресеклось, и только вверху где-то тихо замяукала кошка.

«Он!» — уже с полной уверенностью сказал Федор Андреевич и, весело улыбаясь, вошел к себе.

Переодевшись, он зажег лампы и принялся за работу. Работа была пустая. Он брал листы бумаги, резал их полосами вершка в два и густо смазывал патокой.

Потом он пошел в переднюю. Здесь работы было больше. Он разложил полосы у самого порога на полу и прикрепил их кнопками; с помощью тех же кнопок укрепил такие же полосы по стенам около косяков и, наконец, по потолку, над дверью. Словом, окружил дверь со всех четырех сторон сплошным бордюром.

— Пусть перелезет, — усмехнулся он, старательно еще раз размазывая патоку.

Окончив все приготовления, Федор Андре-

евич ничего уже не мог делать. Он раскрывал книги любимых поэтов и громко начинал декламировать их стихи, но через минуту бросал их и хватался за перо, потом вставал, тревожно ходил по комнате и, наконец, упав на диван, замирал в ожидании, а через несколько мгновений снова бегал по комнате.

Хаос мыслей наполнял его голову. Невозможное казалось возможным, фантастическое становилось реальным. Он представлял себе, как на его глазах Шельм из таракана обращается в толстого немца, и при этом думал: «Куда же он прячет пальто и шляпу?» Он представлял себе волшебный кристалл, так сказать, материализированную слюну сатаны, но тут его мысли останавливались…

Целый мир, новый, неизведанный, открывался перед ним! Что тайны моря заоблачных миров или неведомых стран? Перед ним, Федором Андреевичем, откроются тайны человеческих душ! И в его уме складывались поэмы, повести, романы…

Бегая по комнате, он подошел к столу, взглянул на лежащие на столе часы и вздрогнул: на часах было уже половина первого.

В первый момент у него подкосились от вол-

нения ноги, но он быстро оправился, схватил свечку и выбежал в переднюю.

Громкий крик огласил комнаты, крик торжества. У притолоки направо, аршина полтора от пола, на полосе бумаги, тревожно двигая усами, сидел приставший к патоке таракан. Большой, черный, он беспокойно подымал голову, делал попытки двинуться, но тягучая патока удерживала его, и он только подымал свои длинные усы, словно протягивал с мольбою руки.

— Не уйдешь, приятель! — радостно проговорил Федор Андреевич, осторожно снимая полосу бумаги и неся ее в комнату. Там он положил ее на обеденный стол и прикрыл опрокинутым стаканом. Края стакана врезались в густую патоку, а он для верности еще нажал его ладонью.

— Ну, фон Шельм, обращайтесь в аптекаря! — громко сказал он, но таракан, ничего не ответив, по-прежнему водил по воздуху поднятыми усами.

Федор Андреевич придвинул стул, сел и вперил нетерпеливый взгляд в стакан.

Все оставалось по-прежнему: превращения не совершалось.

Федор Андреевич почувствовал нечто вроде разочарования. Он уже приготовил ряд вопросов

Шельму, но превращения никакого не происходило и таракан, видимо, изнемогая, начинал мириться с своею участью.

Федор Андреевич со вздохом обругал себя дураком и пошел в спальню.

Но едва он лег и загасил свечу, как перед ним явился старик. На этот раз он не был мертвенно неподвижен; напротив, он торопливо прошлепал туфлями, почти вбежал в комнату и, не садясь на стул, заговорил.

— О, благодарю! Кристаль ваш! Только еще одно!

— Что еще? — недовольно сказал Федор Андреевич. — Таракана поймал, — самый обыкновенный, черный. Никакого Шельма нет, как и кристалла. Подурачили меня и довольно! Идите!

— О! о! о! — застонал старик и завертелся на месте. — Тогда я пропаль! Время только до трех часов! Я не успей! О, сжалься, молодой шеловек! Пожалста!

— Что еще?

— Меня надо вынуть, открыйть! Я сам не могу, я отдам кристаль! Пожалста! — его голос звучал томительной мольбою.

Федор Андреевич спустил с постели ноги, всунул их в туфли и сказал:

— Что надо делать?

— О, благодарю вам! — радостно ответил старик. — Идите за мной, здесь, и вскрывайть стен. Раз, два! Скорее!

— Позвольте! Я не кошка, чтобы в темноте шарить, — уже раздраженно ответил Федор Андреевич, — я зажгу свечу!

— О, ja! — сказал старик, тряся головою, запахиваясь в халат и видимо волнуясь. — Зажигайть! Я буду вам указать! Пожалста!

Федор Андреевич чиркнул спичку и зажег свечу.

— Кой черт? — выругался он, изумленно оглядываясь. — Я брежу!

В комнате никого не было. Но в тот же миг словно порыв ветра подхватил Федора Андреевича, и он, схватив свечу, быстро встал и торопливо пошел через комнату, переднюю, по коридору, в кухню, поставил там на холодную плиту свечу и остановился опять в недоумении. Но это состояние продолжалось менее мгновения. Его взгляд упал на оставленный у плиты дворником топор; он быстро нагнулся, взял его, твердо подошел к стене и нетерпеливо, энергично стал выламывать из нее кирпичи.

«Бум, бум, бум», — глухо раздавались удары

в ночной тишине, и потом с шумом сыпались на пол известка и щебень. Кирпич выпадал за кирпичом, известка сыпалась беспрерывным потоком, пот ручьями лился по лицу Федора Андреевича, а он упорно ломал стену, вывертывая кирпич за кирпичом.

И при колеблющемся пламени свечи, в одном белье, с покрасневшим от усилия лицом, осыпанный известью, он казался безумным, нанося тяжкие удары топором в стену.

Вдруг, под влиянием непонятно мелькнувшей мысли, он отбросил топор в сторону и начал вынимать кирпичи руками. Перед ним открылась ниша, заслоненная широкой доскою. Он рванул доску; она с грохотом упала, и Федор Андреевич увидел старика. Он стоял недвижно, прислоненный к стене. Волосы зашевелились на голове Федора Андреевича, он сделал шаг вперед. Это был не старик, а высохший скелет, державшийся только на позвоночнике, одетый в истлевший халат и покрытые плесенью туфли. От легкого сотрясения скелет дрогнул, желтый череп качнулся, словно кланяясь; позвоночник изогнулся, и кости с сухим шелестом попадали друг на друга.

Федор Андреевич отпрянул в сторону, спо-

ткнулся, закричал диким голосом и повалился без чувств на пол.

VI

Он очнулся при сиянии солнечного ясного утра. Над ним, склонившись, стояли старший дворник и подручный Иван.

— Жив! — радостно закричал Иван, и Федор Андреевич, слабо улыбнувшись ему в ответ, сделал попытку встать, но ломота во всех костях тотчас заставила его снова опуститься на пол.

— Угорели, видно! — участливо сказал старший дворник, коренастый мужик с черной бородою лопатою. — Ну да, слава богу, живы остались! Мы думали: помер барин. Иван-то прибег, бледный! Дверь, гыт, отпертая, и барин забит лежать!

— А ен жив! — радостно воскликнул Иван и улыбнулся во весь рот.

— Вероятно, угорел, — слабым голосом ответил Федор Андреевич. — Помогите мне, братцы, до постели добраться. А ты, Иван, приготовь мне чаю.

— С нашим удовольствием!

Дворники подхватили его и осторожно повели в спальную. Уходя, он невольно оглянулся на стену. Она была цела, на полу — кроме щепок — не было никакого мусора…

— Ну, вы! чего налезли? Пошли прочь! — вдруг

закричал старший дворник.

С лестницы в переднюю натолкался народ. В самой передней стояли кухарки с мешками для провизии и горничные с корзинками для булок; из-за них выглядывала рыжая голова девчонки; дальше, поднявшись на цыпочках, тянулся мальчишка из лавки с корзинкою на голове, а впереди всех какая-то облезлая собака жадно и старательно слизывала патоку с полосок бумаги у порога.

— Я вас ужо! — пригрозил, проходя мимо, дворник и, оставив Федора Андреевича на попечении Ивана, бросился назад исполнять свою угрозу.

В передней раздались тотчас пронзительный визг лакомки-собаки, глухой ропот любопытных и все покрывающий голос дворника:

— Угорел, черти, говорят вам: угорел! Да ну тя, тетка, поворачивайся! Ах, штоб вас!

Потом голоса смолкли, и дверь с шумом захлопнулась. Иван осторожно, на цыпочках, прошел в кухню, а Федор Андреевич остался лежать с закрытыми глазами.

Что это было? Сон, кошмар, нервный припадок?... Но он отчетливо помнит и удары, наносимые стене топором, и шум обваливающейся штукатурки и, наконец, страшный остов, на его

глазах развалившийся.

А эта ломота в руках? Не есть ли она результат усталости? Он открыл глаза и, взглянув на свои руки, с недоумением качнул головою. На их ладонях ясно обозначались по два пузыря, несомненно натертых топорищем, а вся тыльная сторона правой руки была испещрена мелкими ссадинами от осколков.

Что-то было, но что?..

В это время Иван внес в спальную стакан чая и сахар. Стараясь ступать как можно осторожнее, он шел словно по канату, и стакан на блюдце от его напряженного внимания дрожал и прыгал с явною опасностью хлопнуться на пол. Но Иван преодолел все трудности, поставил стакан на придвинутый им стул и выпрямился со вздохом облегчения.

— Полегчало? — спросил он участливо, встретив взгляд Федора Андреевича.

— Да, совершенно, — ответил он, — я выпью и засну немного.

— Ну и слава богу. А я думал, помер! ей-богу… — ухмыляясь во весь рот, сказал Иван и спросил: — Больше ничего не потребуется?

— Ничего. Можешь идти; я совсем здоров.

— Ну и слава богу, — снова повторил Иван и по-

клонившись, осторожно вышел из комнаты.

Федор Андреевич услышал, как стукнула дверь, и стал жадно пить крепкий чай, который видимо возвращал ему силы.

Потом он откинулся на подушку и задремал; легкая дремота обратилась в крепкий сон, и когда Федор Андреевич проснулся, ясный зимний день клонился к вечеру, сумерки серой пеленою уже окутали все предметы, а дальние углы заволокли совершенною тьмою.

Федор Андреевич зажег свечу, поднялся и прошел в комнату.

«Таракан, — вдруг мелькнуло в его голове, — может, и это сон?»

Он быстро подошел к столу и нагнулся со свечою.

Нет, на столе лежала полоса бумаги, прикрытая стаканом, и под ним находился таракан, но уже без видимых признаков жизни. Он весь лежал в патоке, длинные усы его бессильно вытянулись.

Федор Андреевич брезгливо поморщился, но в эту минуту взор его скользнул по столу и глаза засверкали неподдельной радостью: в открытой коробочке из-под пилюль, в розовой вате лежал ярко сверкающий кристалл желтоватого цвета,

величиною с хороший волоцкий орех.

Федор Андреевич жадно схватил его в руки.

— Спасибо, старик! не надул, — проговорил он весело и стал рассматривать камень. Он был бледно-желтого цвета, совершенно прозрачный, формы октаэдра. Бледный свет свечи преломлялся в его плоскостях и, дробясь, отражался синим, зеленым и желтым огоньками.

— Спасибо, спасибо, — бормотал Федор Андреевич, продолжая разглядывать странный кристалл; но тут он почувствовал дрожь и вспомнил, что не одет.

Отложив кристалл, он тотчас начал одеваться, в то же время думая: «Однако как им пользоваться? В глаз такого не засунешь. Вероятно, надо носить в кармане, держать в руке… и что за бестолковый старик!»

Вернувшись из спальной, он снова протянул руку к коробочке, и вдруг увидел под нею аккуратно сложенную бумажку.

Он осторожно развернул ее, жадно впился в нее глазами и тотчас с досадою бросил ее на стол.

— На смех, что ли! — проговорил он, взволнованно вставая со стула.

На клочке бумаги ровным мелким почерком, без малейшего промежутка, подряд, были напи-

саны буквы:

«Положионыйвводуикапнитрикапли-
солянойкислотысмотривводупятьмину-
типолучишьсилунадвенадцатьчасоврас-
толкионыйвпорошокипооднойпорошин-
кенаглаздадутвечнуюсилу».

Может быть, это одно слово?

Федор Андреевич снова сел к столу и взял в руки бумажку.

— Положионыйвводуикап… Не выговоришь!

Он встал, зажег лампу на письменном столе и пересел к нему, взяв в руки карандаш.

«Разделю на слоги», — мелькнуло у него в голове, и он стал карандашом отделять слоги.

Лицо его тотчас озарила улыбка торжества.

Господи, как это просто!

«По-ло-жи-о-ный-вво-ду-и-кап-ни-три-кап-ли-со-ля-ной-кис-ло-ты; смотри в воду пять минут, — стал уже бойко читать Федор Андреевич, — и получишь силу на двенадцать часов. Растолки оный в порошок и по одной порошинке на глаз дадут вечную силу».

Федор Андреевич радостно засмеялся и вскочив, крепко потер руки. Талисман у него в руках, сила в его власти!..

«Завтра же испробую», — решил он, с нежностью беря кристалл, но желание испытать его чудодейственную силу было настолько велико, что он тотчас переменил свое решение.

Сегодня же!

Но где?

Он взглянул на часы: было уже половина одиннадцатого. Добрых пять часов он провозился с кристаллом!

В ту же минуту он почувствовал страшный голод, и это ощущение навело его на мысль пойти ужинать к Палкину. Он весело засмеялся. Возможны встречи… да и так народу, как на ярмарке.

Федор Андреевич бережно взял кристалл, уложил его в коробочку и запер в ящик своего стола, потом чуть не бегом пустился в ближайшую аптеку.

Вернувшись с пузырьком соляной кислоты, он аккуратно накапал в стакан воды три капли, положил перед собою часы и, опустив в воду кристалл, устремил на него глаза.

Резкая боль заставила его на мгновение зажмуриться, но он снова мужественно открыл глаза и впился ими в кристалл. Кристалл горел всеми огнями; из него словно вылетали искры и остры-

ми иглами подымались кверху; на поверхности воды образовывались крошечные пузырьки; они лопались, и тогда Федор Андреевич ощущал острую резь в глазах, словно от уколов. Потом все заволоклось как бы туманом, туман сменился нежным фосфорическим светом; затем вдруг выбросился сноп красного пламени.

Федору Андреевичу показалось, что он ослеп.

Он откинулся и долго сидел, прикрыв рукою глаза, которые ныли от боли; но боль наконец прошла. Федор Андреевич взглянул на часы: прошло всего десять минут, которые показались ему добрым часом, и он с радостным чувством сознания таинственной силы встал и начал тщательно одеваться.

Было половина двенадцатого, когда он вышел из дома и, сев в сани, приказал извозчику везти себя к Палкину.

VII

Съезд у Палкина уже начался. К подъезду то и дело подъезжали и простые извозчики, и лихачи, в подъезд входили военные и статские, старые и молодые, с дамами и без дам, и, когда Федор Андреевич вошел в ресторан, из залы неслись стройные звуки румынского оркестра.

По лестнице вверх и вниз шли мужчины и дамы: вверх — степенно, с сознанием возможности усладить себя за деньги; вниз — игриво, с закрасневшимися лицами, блестящими глазами и громкой речью, с сознанием весело проведенного времени.

На верхней площадке амур, стоящий голым в бассейне, с беспечной улыбкой держал в руках бутылку из-под шампанского, из которой с неумолчным журчанием бил фонтан; и тут же рядом, одетый с изяществом заправского франта, с манерами молодого чиновника особых поручений при губернаторе, завитой и напомаженный управляющий ресторана отвешивал самые изысканные поклоны всем входящим и выходящим гостям.

Федор Андреевич вошел в зал, в глубине ко-

торого виднелся зимний сад, и на мгновение остановился, ища глазами незанятый столик. Белый зал, украшенный зеркалами, сверкал огнями, лакеи суетливо бегали по залу, скользя и извиваясь между столиками, за которыми, уставленными бутылками и бокалами, приборами, соусниками, кофейниками, сидели мужчины и дамы с веселыми оживленными лицами; в воздухе раздавались возгласы, смех, иногда резкий звонок, призывающий лакея, и все это покрывали плавные звуки румынского оркестра. В белых штанах и расшитых фантастических куртках, они пилили, свистели, дудели, и впереди их со скрипкою стоял сам Матаки, черномазый брюнет с ослепительно-белыми зубами под огромными усищами.

Ресторанная атмосфера охватила Федора Андреевича, и он на время забыл о своем чудесном даре.

Отыскав свободный столик, он подозвал лакея, заказал принести водки с закуской, выбрал по карте блюдо и, откинувшись к спинке стула, стал оглядывать зал.

Он сидел у прохода. За его спиною, за большим столом сидела шумная компания молодых офицеров, слева от него какой-то старец сидел

с молодой женщиной и что-то усиленно шептал ей, перегнувшись через стол, а она смеялась, грозила ему ножом от фрукт, и перья на ее громадной шляпе колыхались во все стороны.

Справа сидел господин купеческой складки и угрюмо пил шампанское, заедая его виноградом. Общее веселие, видимо, угнетало его.

А дальше какие-то евреи, похожие на маклеров, шумели за столом на всю залу, вероятно запивая выгодную сделку; сидел толстый и красивый господин с очень красивой дамой, а там еще дамы и мужчины всех возрастов и категорий.

Вот, шелестя шелковыми юбками, небрежно глядя по сторонам, прошла высокая, стройная красавица, а за нею с робкой улыбкой проследовал худосочный прыщавый юноша, одетый по последней моде; вот из зимнего сада развязной походкой, с манерами гвардейских корнетов, прошли два студента.

Федор Андреевич вспомнил про свой дар и встрепенулся, но в эту минуту подошел лакей и подал заказанное.

Волчий аппетит проснулся в Федоре Андреевиче и заглушил на время всякие иные, кроме еды, помыслы…

Выпив несколько рюмок водки и плотно поев,

он заказал себе кофе с ликером, закурил папиросу и решил воспользоваться своею силой. Но как?

Он рассеянно оглянулся, взгляд его встретился с унылым взглядом соседа купеческой складки, и вдруг в то же мгновенье в его ушах загудел ворчливый голос: «Ох, маята, маята, хоть бы пес какой подвернулся, душу отвести. Ишь ты, франты кругом, а разверта настоящего нету, чтобы треск! вот бы сюда Фому Лукича захороводить да Прокла Степановича…»

В то же время Федору Андреевичу показалось, что он видит пьяные красные лица… Вино льется… хор нарумяненных девиц что-то поет, семеня ногами и подпрыгивая… Через их головы летит бутылка. Хрясть! и на пол сыплются осколки разбитого зеркала, певицы испуганно шарахаются в сторону, а пьяные люди с диким хохотом их ловят…

Сосед отвел глаза, и Федор Андреевич словно очнулся. Лицо его озарилось улыбкою.

«Вот оно… чужая душа и чужие мысли! однако, это интересно, — подумал он, — и прав Жохов: составь я этому дикобразу компанию, страх обрадуется… Однако, — через мгновение подумал он, — и свинья же!..» — и он брезгливо оглянулся на своего соседа, но тот сидел, склонив голову,

и угрюмо давил корявым пальцем на скатерти ягоду винограда.

Федор Андреевич оглянулся налево. Женщина в вычурной шляпе взглянула на него, и он тотчас услышал: «Тоска! хоть бы денег дал, а то так только… мучает… противный, старый. А завтра за Мишу…»

Федор Андреевич увидел бедную комнату и в ней хорошенького мальчика лет двух. Эта самая женщина стоит перед ним на коленах и осыпает его страстными поцелуями. Подле них высокая женщина с сухим жестким лицом…

Женщина отвела глаза, и Федор Андреевич увидел, что она опять с кокетливой улыбкой грозит старику…

Он огляделся. «Пой, пой, подкуем на все четыре ноги!» — послышался музыкальный голос. На него смотрел красивый с наглым лицом еврей из компании напротив через проход.

Вот он отвернулся и с восторженной улыбкой аплодирует почтенному господину, сидящему в их компании.

«Подойти бы и предупредить» — мелькнуло в голове Федора Андреевича, и он опять обвел глазами зал. Шум поднялся в его ушах, в глазах запестрели картины. «Сто рублей пропьет, а пя-

ти взаймы не даст!» — с злобой слышался один голос; «Голову бы разбил каналье, а ты льсти!» — слышался другой. «Уломаю или нет?» «Небось напою до положения риз, все выложишь!» «Ругайся потом, мои деньги: хочу — пропью!» «И хороша, бестия!..» А в глазах мелькали картины…

Больная жена, рядом ребенок; лампадка слабо освещает комнату, и женщина вздрагивает и к чему-то тоскливо прислушивается…

Человек уныло шагает по улице, мороз крепчает, он зябко ежится в своем легком пальто…

На кушетке спит мужчина, другой, с армянским лицом, осторожно запускает руку в его карман.

— Федор Андреевич, а мы к вам! разрешите! — вдруг услышал он подле себя голос, вздрогнул и очнулся.

Перед ним стоял пожилой брюнет с изрядною плешью, с тщательно расчесанными бакенбардами. Губы его улыбались, темные глаза нагло смотрели через стекла золотого пенсне, кругленькое брюшко лезло вперед, и на нем болталась цепочка с массой брелоков. Это был Гозе, Димитрий Карлович, знаменитый тем, что в год писал по четыре раздирательных пьесы на историческую или уголовную тему для театра-балагана

Хрипуна, в котором состоял режиссером. Теперь в фельетонах дешевой газеты он писал пасквильный роман, выводя в нем своих знакомых с их послужными списками, и находился в апогее своей славы.

— «Красавец собою… умен… общее внимание… кхе!.. должен быть счастлив!» — услышал Федор Андреевич и увидел, как Гозе, поправляя на носу пенсне, самодовольно глядел на него. Федор Андреевич взглянул на его спутника. Он хихикал и потирал руки, склонив вперед свой неуклюжий стан. С короткой шеей, курносый, он походил в профиль на доброго йоркширского поросенка. Это был Воронов, Димитрий Авдеевич. Семинарист, бывший учитель, он считал себя крупным поэтом, а еще более крупным администратором с той поры, как попал в чиновники департамента полиции. Федор Андреевич познакомился с ними обоими у Хрипуна, у которого, как у Палкина, можно было встретить людей всяких профессий.

— Хи-хи-хи! не откажите, — говорил кланяясь, Димитрий Авдеевич, — а то и местечка свободного нет.

— Сделайте милость! — радушно ответил Федор Андреевич, снова садясь на свое место.

Гозе откинулся на спинку стула и, задрав го-

лову кверху, с важным видом стал отдавать приказания почтительно склонившемуся лакею. Воронов сидел, потирая руки и улыбаясь, в то же время искоса поглядывая на Федора Андреевича. Тот взглянул на него и услышал тихий голос: «тоже стихи пишет… до моих далеко… и служит где-то… кажется, хорошо… буду внимателен… пригодиться всегда может…»

— Ну, будем есть и пить! — оживленно сказал Гозе, мановением руки отпустив лакея, и сейчас же устремил вспыхнувший взгляд на соседку.

— Невредная! — сказал он, осклабляясь, и Воронов принял тотчас серьезный вид, так как был женат и любил говорить о святости семейного очага, и забасил:

— Нет, ты скажи нам, кого ты теперь станешь изображать в своем романе? великолепная вещь! Стильная, живая! вы читали? — обратился он к Федору Андреевичу.

«Ему-то это маслом, дураку, по сердцу», — послышалось Федору Андреевичу.

— Нет, — ответил он.

— Гм! ха-ха-ха! — засмеялся Гозе. — Так нравится? — спросил он самодовольно. — А вам я книжку дам, когда весь кончится!

Федор Андреевич кивнул головою, а Воронов, поправляя на носу очки, убежденно сказал:

— Лучшая вещь!

Лакей принес водку, рюмки и стал устанавливать закуски.

— Отлично! — весело сказал Гозе. — Выпьем и закусим! вам угодно?

— Благодарю. Я уже поужинал!

Они жадно принялись за еду, а Федор Андреевич, перебрасываясь с ними легкими фразами, старался уловить их взгляды. Гозе поминутно вскидывал на него свои глаза, и Федор Андреевич слышал только самодовольные мысли о самом себе, о своей красоте, о своей славе, о своем даровании, о зависти и восторге окружающих. И — ничего больше!

Взгляд Воронова поймать было труднее: он избегал смотреть прямо, а если и взглядывал, то всегда при этом поправлял на носу очки. И Федор Андреевич мельком ловил его мысли. Он думал, как бы не попасть в роман Гозе, и измышлял способ запугать его. Думал о своем политическом значении, потом с трусливой беспокойностью о жене, от которой влетит, если она узнает, что он ужинал у Палкина. «Знает ли он, что жена моя генеральша?» — услышал вдруг Федор Андреевич

вопрос и уже хотел ответить «не знаю», но вовремя одумался.

Ему становилось не по себе. Все, что он успел подсмотреть и подслушать в человеческих душах, было так ограниченно, пошло, бесцветно…

«Неужели интересы всех этих людей, — подумал он, оглядываясь, — так ничтожны и пусты? Впрочем, это ресторан». И он успокоился, но чувство недовольства не оставляло его.

А Гозе, поев и выпив и тоже спросив ликер и кофе, закурил сигару и, выпячивая грудь, с циничной откровенностью стал рассказывать, как он живет с тремя семьями. Воронов хихикал и кивал головою, а Федор Андреевич, ловя его взгляды, читал, как искренне он завидует Гозе, как злится на его хвастовство и как хочет затмить его своим превосходством, но в то же время боится его, и снова хихикает. Вдруг почти над самым ухом Федора Андреевича раздался его возглас: «Господи, его превосходительство!» — и в то же мгновение Воронов встал, согнул надвое свое неуклюжее туловище и, сделав три крадущихся шага, с заискивающей улыбкой подошел к проходившему мимо седенькому старичку, косому на один глаз. Тот торопливо кивнул ему и прошел мимо. Воронов вернулся, на лице его была разли-

та сладость. Он взглянул на Федора Андреевича и сказал с некоторой торжественностью:

— Его превосходительство сам начальник, Щеглов! — И Федор Андреевич одновременно услышал: «Отнесся ласково, хи-хи-хи! ну, чья взяла?»

Гозе был, видимо, смущен. Он издали почтительно поклонился старичку, но тот его не заметил.

Федору Андреевичу стало противно. Он встал, да уже было и время: румыны ушли, большая люстра погасла.

— Куда вы? — сказал Гозе. — Посидели бы! Потом к разъезду в клуб пройдем. Самый разгар.

— Поздно! — ответил Федор Андреевич и, расплатившись, пошел из зала.

Управляющий отвесил ему поклон. Их взгляды встретились.

«Верно, тоже из почетных. Надо запомнить», — услышал Федор Андреевич и весь вспыхнул.

— А для чего вы их запоминаете? — вслух спросил он.

Управляющий вытаращил глаза и откачнулся. Федор Андреевич усмехнулся и быстро пошел с лестницы.

Погода была мягкая, падал легкий снег, и он

решил пройти пешком. На душе его было скверно. Действительно, только сатана мог наградить таким пакостным даром! Этот Гозе? Знал он его за славного, неглупого парня, к его романам (очень часто заимствованным) относился так же легко, как и он, но никогда бы не подумал, что он до такой степени пошл, пуст, бессодержателен! как, должно быть, он бывает зол, когда заденут его куриное тщеславие!.. А этот Воронов?! да ведь он все время считал его за умного, свободного человека и вдруг… такая мразь! тьфу!!

VIII

Когда он встал на другое утро, впечатления вечера не изгладились еще из его памяти, и он чувствовал себя не в духе.

«Возобновить способность или нет?» — думал он и то косился на ящик письменного стола, то с досадою от него отворачивался. Куда идти сегодня? Да! сегодня он обедает у Чуксановых и вечер проводит у Хрипуна. У него сегодня чье-то рождение и что-то вроде бала.

«Возобновлю!» — решил он и с этой мыслью уселся к столу, на который Иван поставил уже кипящий самовар, и взял в руки газету. Взгляд его случайно упал на последнюю страницу, и он вдруг побледнел, и на лбу его выступил холодный пот. В черной рамке, первым в ряду объявлений об умерших, он прочел:

«Вдова и дети с глубоким прискорбием извещают родных и друзей о внезапной кончине Карла Ивановича Шельм, последовавшей в ночь с 6 на 7 января от удушия».

«Убийца! — чуть не вскрикнул Федор Андреевич, отбрасывая газету, и, в волнении вскочив со стула, стал ходить по комнате. — Накрыл ста-

каном, когда знал, что там человек! раз вздохнул, и готово!..»

«Но я же до последней минуты был убежден, что это таракан! — возразил он тотчас же. — Какой? до этого мгновения!»

«О, проклятый дар! он, он, Федор Андреевич мог убить человека? ха-ха-ха!»

Он остановился посреди комнаты и сжал голову руками.

«Одни сутки — и сколько ужасов!..»

Он бессильно опустился на стул и рассеянно взглянул на газету, взглянул и опять вздрогнул. Тут же, на последней странице, в отделе «Хроника», он прочел:

«Загадочный случай. Сегодня утром на набережной Обводного канала, у Забалканского моста, был усмотрен закоченевший труп старика, одетого в ветхий халат и туфли. Тут же случившаяся старуха, Анисья Козырева, прачка по ремеслу, признала в нем одного из своих давнишних клиентов, некоего Фридриха Густавовича Пфейфер, который лет 16 тому назад бесследно исчез из своей квартиры. Полиция деятельно принялась за расследованье этого странного происшествия. Полуразложившийся труп предали погребению».

Федор Андреевич сидел, как подавленный, без движения, без мыслей. Чай давно простыл в его стакане. Самовар шумел, пыхтел, потом жалобно пискнул и начал медленно остывать, а он недвижно сидел, и только прерывистое дыхание свидетельствовало об его волнении.

Наконец он встал, глубоко вздохнул и провел рукою по лицу.

Если все так случилось, значит, так было суждено. Все происшедшее столь невероятно, что, очевидно, добрая или злая его воля не могли ни на волос изменить событий.

Эта мысль несколько успокоила его, и он стал неторопливо собираться из дома: сперва на службу, потом обедать к Чуксановым (при этом его сердце сжалось), а вечером к Хрипуну. Федор Андреевич покачал головою: «Какая рассеянная жизнь! сколько драгоценного времени, потраченного даром! вечер за вечером!» И он тоскливо оглянулся на свой письменный стол, на котором лежали листки начатой поэмы. Но когда он взглянул на стол, взгляд его упал на ящик с торчащим в замке ключом, и он вспомнил про кристалл.

«Воспользуюсь!» — решил он еще раз, взял стакан, кислоту и приготовил воду.

Полчаса спустя он вышел из дому и медленно

направился к министерству, изредка взглядывая на прохожих.

И опять в душе его проснулось недовольство, и он стал жалеть, что воспользовался проклятым даром.

По всему пути, от дома до министерства, он не встретил ни одной «души», то есть ни одного человека с чистой радостью, с искренней тоской, с мыслью о ближнем. Самые пустые интересы волновали всех встречавшихся с ним, и на первом месте стояла корысть и какая-то беспощадная ненависть ко всем другим. Встретился студент с ясным, улыбающимся лицом, и оказалось, что он думал о ловкой проделке: он только что послал отцу жалостливое письмо о своей нужде и, уверенный, что отец ему вышлет деньги, рассчитывал, успеет ли он получить их к вечеру у каких-то Сомовых, где будет игра.

И Федору Андреевичу вдруг привиделся земский врач на пункте, у него пятеро детей, живут они в избе, и вот, в крошечной комнатке врач грустно читает и перечитывает письмо сына, этого беспечного юноши…

Встретилась красивая женщина с веселым лицом, которая думала: «Наконец-то я заставила Пьера взять взятку! он говорит: тяжело. Ничего,

привыкнет! Все берут! теперь я этим Бегишевым покажу»…

Прошел с серьезным, нахмуренным лицом пожилой господин, у которого была одна мысль, похож ли он на действительного статского советника.

Промелькнул озлобленный человек, мысленно назвавший Федора Андреевича скотом за его шинель и цилиндр.

И только последняя встреча рассмешила его. Навстречу шел господин с красивыми баками, в котиковой шапке и меховом пальто. Он выступал как-то особенно важно, куря сигару на морозном воздухе и поднимая кверху нос с золотым пенсне. Федор Андреевич встретился с ним глазами, увидел самодовольное лицо и тотчас услыхал: «а ну-с, Аграфена Петровна, угадайте-с: барин пришел к вам али евонный лакей. Наше вам-с! силь ву пле!»

Федор Андреевич невольно рассмеялся и с улыбкою вошел в подъезд министерства.

«У него сорву рублей 15, да у Хрюмина. Жене рублей 5 отдам, а на остальные и кутнем!»

Федор Андреевич оглянулся и, к своему удивлению, увидел подходившего к нему Орехова. Он вздыхал и имел подавленный вид.

И в то же мгновение Федор Андреевич увидел бледную, исхудалую женщину. Вот она роется у себя в комоде, достает связку белья и суетливо одевается в драповую ротонду, пряча под нею остатки имущества. Вот она торопливо идет по улице и останавливается у подъезда с крупною надписью: «Ломбард»…

Федор Андреевич сухо поздоровался с Ореховым и отвернулся, едва тот разинул рот. Не смотря на него, он торопливо разделся и устремился вверх по лестнице. На площадке с ним поздоровался Жохов. «Сегодня узнать должен», — мелькало у него в голове. «Догадается или нет? а впрочем, где ему, дураку, догадаться!»

— Дружище! — сказал он громко. — Ну, как живешь, что пишешь? Я недавно читал твои стишки!

Этими словами он всегда начинал свои беседы с Федором Андреевичем, но на этот раз, в предчувствии какой-то неприятности, Федор Андреевич ограничился только сухой улыбкой и пошел в свое отделение.

Ему опять сделалось тоскливо. Вот, только вошел в министерство и уже двоих осудил.

Этот Орехов, которого он так всегда жалел, оказывается далеко не несчастным; несчастна

его жена…

Этот Жохов, его приятель, что-то замышляет против него.

— А, Федор Андреевич! — у самых дверей приветствовал его Штрицель: — Что с вами вчера было? Отчего на службе не были?

— Нездоровилось, — ответил Федор Андреевич, смотря ему в близорукие глаза.

«Читал или нет?» — услышал он тревожную мысль Штрицеля.

— Читали вчера газету? — спросил он Федора Андреевича.

— Нет, а что?

Лицо Штрицеля просияло: «Убедится теперь, что я писатель!»

— Так. Отзыв о моей книжке, — ответил он небрежно, — я могу прочесть вам. Вот!

И, вынув из кармана сложенную газету, он прочел крошечную заметку об его крошечной книжке стихов. Лицо его сияло. Когда, прерывая чтение, Штрицель взглядывал на Федора Андреевича, он читал его самодовольные мысли: «Завидно, пожалуй… а? полмильона прочли, что есть писатель Штрицель!.. ишь, улыбается, а у самого кошки скребут!..»

— Завтра схожу в книжный магазин. Вероятно,

продажа двинулась, — сказал он, окончив чтение и свертывая газету.

— Я очень рад вашему успеху, — искренне сказал он Штрицелю и вошел в комнату.

Сослуживцы дружески с ним поздоровались. Федор Андреевич взглянул на одного, на другого, на всех по очереди, начиная от старшего помощника делопроизводителя, кончая причисленным канцелярским служителем, и у всех прочел какие-то тревожные, отрывочные мысли: «Что-то будет… как повернет… пожалуй и кубарем… нет, он меня отличал».

И только один Штрицель был весь погружен в самодовольные мысли о своем литературном дебюте.

— Что-то случилось, чего я не знаю? — сказал Федор Андреевич Тигрову. Тот выпучил на него глаза с неподдельным изумлением, и Федор Андреевич прочел: «Считал я тебя всегда дураком, но не таким!»

«Это он-то? меня!» — вспыхнув, подумал Федор Андреевич, а Тигров продолжал:

— Не знаете? У нас директора сменили! назначен Гавриловский, — и, понизив голос, шепнул многозначительно, — в высших сферах интриги! У меня знакомый, знаете (он назвал фамилию

одного из министров), так я от него слыхал: в высших сферах интриги! — и он с важным видом выпятил вперед накрахмаленную сорочку. «Понял! — самодовольно подумал он. — Небось тебе к таким людям и на порог не ступить!»

Федор Андреевич опять вспыхнул и мысленно обругал Тигрова.

В этот день для него, как нарочно, открылось назидательное зрелище. По-видимому, все сидели покойно, углубленные в свои бумаги, или мирно беседующие, но стоило им вскинуть глаза на Федора Андреевича, и тот читал их тревожные, мелочные мысли: кого куда переместит новый директор, кого отличит, кого затрет, кого приведет с собою.

Ему становилось противно, словно он сидел в лакейской, и он собрался уже выйти в коридор, когда его позвал к себе в кабинет Чемоданов. Он, не сгибая локтя, подал руку Федору Андреевичу и, пригласив его сесть, скрипучим голосом сказал:

— Я разочарую вас, Федор Андреевич. На вакантное место его превосходительство изволил лично назначить Жохова, и я не мог даже замолвить слова.

«Не стану же я из-за этого франта себе карьеры портить. У того протекции, а этот…» — услышал

Федор Андреевич его мысли и торопливо встал.

— Я не так огорчен, Василий Семенович, этим. Я, слава богу, один, и на мой век хватит и теперешнего! — сказал он.

«Врет, но молодец! — подумал Чемоданов. — Напрасно я в угоду Гавриловскому выругал его. Постараюсь загладить. С выдержкой человек!»

— И прекрасно! — проскрипел он, стараясь сделать веселое лицо. — Я о вас позабочусь. Еще поработаем вместе!

Федор Андреевич вышел от него с скверным чувством сознания человеческой подлости. Чемоданов ему казался всегда благородным человеком, и он не думал, что в душе он настолько лакей; Жохов был ему товарищем, и он не ожидал, чтобы тот даже не предупредил его, что перешел ему дорогу. Когда же он проходил через комнату, в мыслях всех своих сослуживцев он прочел какое-то необъяснимое злорадство.

— А, брат Федюха! — приветствовал его Хрюмин, вертя головою. — Что, отшили? хи-хи-хи!

— Мне-то на это плюнуть, — ответил искренне Федор Андреевич, — но для чего передо мной Жохов ломался? поздравлял тогда?

— Хи-хи-хи, — завертел головою Хрюмин, — просто скотина он!

Федор Андреевич взглянул на него и вдруг услышал его мысли: «Авось теперь иначе про него подумает да выругает его. А я Жохову скажу. Он в гору идет!»

Федор Андреевич даже вздрогнул. О, мерзость! — хотел он воскликнуть, но Хрюмин в это время, вертя головою, говорил и хихикал:

— Он, каналья, про тебя здесь такие слухи распускает, беда! Что и пьяница ты, и игрок…

— Все вы на одну колодку, — вспыхнув, произнес Федор Андреевич и почти бегом направился к лестнице, не досидев до урочного часа.

Он ехал, закутавшись в шинель, стараясь ни с кем не встречаться взглядами, и душа его кипела от пережитых впечатлений.

Сколько мелочности, грязи и подлости представляют души тех, кого он любил и кому он верил. Полоумный Штрицель со своей манией пролезть в писатели оказывается лучшим из всех. Даже дурак Тигров, которого он всегда отстаивал, считает его дураком. И правда дурак! Дурак за эту смешную веру в людей и их добродетели! а впрочем… — и мысли его перенеслись в маленький домик на Петербургской стороне, куда теперь он ехал, чтобы отдохнуть.

Вот и Кривая улица, вот и решетка, отгоражи-

вающая палисадник. Федор Андреевич быстро вышел из саней, расплатился с извозчиком, прошел между двумя сугробами снега и позвонил у крылечка.

За дверью послышались шаркающие шаги, щелкнул ключ, стукнул крючок, загремела цепь, и Федор Андреевич увидел самого Чумазова[12], запахивающегося в халат.

— Степан Африканович, зачем это вы без… — начал Федор Андреевич и смолк на полуслове.

«Ишь, словно ворон на падаль! не пришибись, парень!» — раздалось в его ушах, едва он взглянул в маленькие глазки Чумазова.

— Ничего, ничего, пожалуйте! — тихо говорил тем временем Чумазов, стараясь казаться радушным.

— Нина, Федор Андреевич! — крикнул он и, запахнувшись в халат, пошел из передней, сказав:

— Дверь-то хорошенько заприте!

Федор Андреевич несколько мгновений стоял в нерешимости, думая: не уйти ли, раз он узнал мысли хозяина, но потом, усмехнувшись, встряхнул плечами и быстро разделся.

Не к нему, ведь, идет он! и та же Нина отлично

---

[12] Сноски: 12

Здесь и далее фамилия знакомых героя необъяснимо меняется с «Чуксановых» на «Чумазовых». — *Прим. изд.*

знает, что ему нет дела до их капиталов.

Он вошел в гостиную в одно время с Ниною, и они дружески встретились на середине комнаты.

«Чем-то недоволен. Опять какая-нибудь сентиментальная чушь», — услышал он, взглянув в ее глаза, а следом раздался ее голос:

— Ну, здравствуйте! Что это вы сегодня каким букою? Огорчены чем-нибудь?

Он улыбнулся. Что же, в ее мыслях было участие к нему, хотя в несколько странной форме, — и он ответил:

— Ничего, кроме того, что я упустил повышение по службе и потерял двух приятелей!

— Умерли?

— Нет, я в них разочаровался.

«Так я и думала! прав Толя: совершенная размазня!»

Федор Андреевич покраснел.

— Ну, это еще небольшая потеря, — весело сказала Нина, — вы знаете: Господи, избави меня от друзей!.. а вот повышение… Скажите, что это было за повышение?

Федору Андреевичу больно было слушать ее слова. В ее розовых губках они казались ему циничны. Раньше они казались ему забавны,

и он всегда думал, что она говорит такие слова нарочно, чтобы вызвать его на горячий спор.

Он коротко рассказал ей и про обещание Чемоданова, и про перемену директора, и про поведение Жохова, — и все время пристально глядел ей в глаза, читая ее мысли, от которых ему становилось все больней и больней.

«Дурак, прямо дурак, — слышался ему ее насмешливый голос. — Ну, что я с ним буду делать? Мама говорит: «Переделаешь!» — да он всегда таким останется. Рохля какой-то. Ему бы только стишки писать да восторгаться. У-у! вот размазня-то!»

— Ну, что же, — сказала она ласково, когда он смолк. — Чемоданов все-таки отличил вас. Времени впереди много!

— Я и не огорчен этим, — ответил он, — мне больно было разочароваться в людях, — и в его голосе послышалась тоска.

«С чего это он?» — встрепенулась Нина и ласково улыбнулась ему.

Ф. К. Сологуб
Дама в узлах
1912
Легенда белой ночи

Н. И. Бутковской

У одного московского мецената (говорят, что меценаты водятся теперь только в Москве) есть великолепная картинная галерея, которая после смерти владельца перейдет в собственность города, а пока мало еще кому ведома и труднодоступна. В этой галерее висит превосходно написанная, странная по содержанию картина малопрославленного, хотя и весьма талантливого русского художника. В каталоге картина обозначена названием «Легенда белой ночи». Картина изображает сидящую на скамейке в едва только распускающемся по весне саду молодую даму в изысканно-простом черном платье, в черной широкополой шляпе с белым пером. Лицо дамы прекрасно, и выражение его загадочно. В неверном, очарованном свете белой ночи, который восхитительно передан художником, кажется порою, что улыбка дамы радостна; ино-

гда же кажется эта улыбка бледною гримасою страха и отчаяния.

Рук не видно, — они заложены за спину, и по тому, как дама держит плечи, можно подумать, что руки ее связаны. Стопы ее ног обнажены. Они очень красивы. На них видны золотые браслеты, скованные недлинною золотою цепочкою. Это сочетание черного платья и белых необутых ног красиво, но странно.

Эта картина написана несколько лет тому назад, после странной белой ночи, проведенной ее автором, молодым живописцем Андреем Павловичем Крагаевым, у изображенной на картине дамы, Ирины Владимировны Омежиной, на ее даче близ Петербурга.

Это было в конце мая. День был теплый и очаровательно-ясный. Утром, то есть в ту пору, когда рабочий люд собирается обедать, Крагаева позвали к телефону.

Знакомый голос молодой дамы говорил ему:

— Это — я, Омежина. Андрей Павлович, сегодня ночью вы свободны? Я жду вас к себе на дачу ровно в два часа ночи.

— Да, Ирина Владимировна, благодарю, — начал было Крагаев. Но Омежина перебила его:

— Итак, я вас жду. Ровно в два часа.

И тотчас же повесила трубку. Голос Омежиной был необычайно холоден и ровен, каким бывает голос человека, готовящегося к чему-то значительному. Это, а также и краткость разговора немало удивили Крагаева. Он уже привык к тому, что разговор по телефону, и особенно с дамою, бывает всегда продолжительным. Ирина Владимировна, конечно, не составляла в этом отношении исключения. Сказать несколько слов и повесить трубку — это было неожиданно и ново, и возбуждало любопытство.

Крагаев решился быть аккуратным и не опаздывать. Он заблаговременно заказал автомобиль, — своего еще не было.

Крагаев был довольно хорошо, хотя и не особенно близко, знаком с Омежиной. Она была вдова богатого помещика, умершего внезапно за несколько лет до этой весны. Она и сама имела независимое состояние. Дача, куда она приглашала Крагаева, была ее собственная.

О ее жизни с мужем ходили в свое время странные слухи. Говорили, что он часто и жестоко бьет ее. Дивились тому, что она, женщина состоятельная, терпит это и не оставляет его.

Детей у них не было. Говорили, что Омежин и неспособен иметь детей. И это еще более ка-

залось всем странным, — зачем же она с ним живет?

Часы Крагаева показывали ровно два часа, и уже становилось совсем светло, когда его автомобиль, замедляя ход, приближался к ограде загородного дома Омежиной, где ему приходилось бывать несколько раз прошлым летом.

Крагаев чувствовал странное волнение.

«Будет еще кто-нибудь, или только я один зван? — думал он. — Приятнее быть наедине с милою дамою в эту очаровательную ночь. Разве и зимою не надоели достаточно все эти люди!»

У ворот не видно было ни одного экипажа. Было совсем тихо в темном саду. Окна в доме были не освещены.

— Ждать? — спросил шофер.

— Не надо, — решительно сказал Крагаев и расплатился.

Калитка у темных ворот была немного приоткрыта. Крагаев вошел и закрыл за собою калитку. Оглянулся почему-то — увидел в калитке ключ и, повинуясь какому-то неясному предчувствию, замкнул калитку.

Тихо шел он по песочным дорожкам к дому. От реки тянуло прохладою, кое-где в кустах слабо и неуверенно чирикали первые, ранние птички.

Вдруг знакомый голос, опять, как утром, странно-ровный и холодный, окликнул его.

— Я здесь, Андрей Павлович, — говорила Омежина.

Крагаев повернул в ту сторону, откуда слышался голос, и на скамейке перед куртиною увидел хозяйку.

Она сидела и улыбалась, глядя на него. Одета она была точь-в-точь так, как он потом изобразил ее на картине: то же черное платье, изысканно-простое покроем, никаких украшений; та же черная шляпа с широкими полями и с белым пером; так же руки заложены были за спину, и казались связанными; так же, спокойные на желтом сыроватом песке дорожки, видны были белые ноги, и на них, охватывая тонкие щиколотки, слабо поблескивало золото двух скованных золотою цепью браслетов.

Омежина улыбалась тою же неопределенною улыбкою, которую потом Крагаев перенес на портрет, и говорила ему:

— Здравствуйте, Андрей Павлович. Я почему-то была уверена, что вы непременно придете в назначенный час. Простите, я не могу подать вам руки, — мои руки крепко связаны.

Заметив движение Крагаева, она засмеялась

невесело и сказала:

— Нет, не беспокойтесь, — не надо развязывать. Так надо. Так он хочет. Нынче опять его ночь. Сядьте здесь, рядом со мною.

— Кто он, Ирина Владимировна? — с удивлением, но осторожно спросил Крагаев, садясь рядом с Омежиною.

— Он, мой муж, — спокойно отвечала она. — Сегодня годовщина его смерти. В этот самый час он умер, — и каждый год в эту ночь и в этот час я опять отдаю себя в его власть. Каждый год он выбирает того, в кого входит его душа. Он приходит ко мне и мучит меня несколько часов. Пока не устанет. Потом уходит, — и я свободна до будущего года. На этот год он избрал вас. Я вижу, вы удивлены. Вы готовы думать, что я — сумасшедшая.

— Помилуйте, Ирина Владимировна, — начал было Крагаев. Омежина остановила его легким движением головы и сказала:

— Нет, это — не безумие. Послушайте, я вам все расскажу и вы меня поймете. Не может быть, чтобы вы, такой чуткий и отзывчивый человек, такой прекрасный и тонкий художник, не поняли меня.

Когда человеку говорят, что он — тонкий и чут-

кий человек, то он, конечно, готов понять все, что угодно. И Крагаев почувствовал себя начинающим понимать душевное состояние молодой женщины. Следовало бы поцеловать, в знак сочувствия, ее руки, и Крагаев с удовольствием поднес бы к своим губам тонкую, маленькую ручку Омежиной. Но так как сделать это было неудобно, то он ограничился тем, что пожал локоть ее руки.

Омежина ответила ему благодарным наклонением головы. Улыбаясь странно и неверно, так что нельзя было понять, весело ли ей очень или хочется плакать, она говорила:

— Мой муж был слабый, злой человек. Не понимаю теперь, почему, за что я его любила, почему не уходила от него. Сначала робко, потом все откровеннее и злее с каждым годом он мучил меня. Все виды мучений он разнообразил, чтобы терзать меня, но скоро он остановился на одной, самой простой и обыкновенной муке. Не понимаю, почему я все это терпела. И тогда не понимала, и теперь не понимаю. Может быть, ждала чего-то. Как бы то ни было, я была перед ним, слабым и злым, как покорная раба.

И Омежина спокойно и подробно стала рассказывать Крагаеву, как мучил ее муж. Говорила,

как о ком-то чужом, словно не она претерпела все эти мучительства и издевательства.

С жалостью и негодованием слушал ее Крагаев, но так тих и ровен был ее голос, и такая злая зараза дышала в нем, что вдруг Крагаев почувствовал в себе дикое желание повергнуть ее на землю и бить ее, как бил ее муж. Чем дольше она говорила, чем больше узнавал он подробностей этого злого мучительства, тем яснее он чувствовал и в себе это возрастающее злое желание. Сначала ему казалось, что говорит в нем досада на ту бесстыдную откровенность, с которою она передавала ему свою мучительную повесть, — что это ее тихий, почти невинный цинизм вызывает в нем дикое желание. Но скоро он понял, что это злобное чувство имеет более глубокую причину.

Или уже и в самом деле не душа ли покойного воплощалась в нем, изуродованная душа злого, слабого мучителя? Он ужаснулся, но скоро почувствовал, как в душе его умирает этот мгновенно-острый ужас, как все повелительнее разгорается в душе похоть к мучительству, злая и мелкая отрава.

Омежина говорила:

— Все это я терпела. И ни разу никому не пожаловалась. И даже в душе не роптала. Но был

день весною, когда я была так же слаба, как и он. В душу мою вошло желание его смерти. Были ли очень мучительны те побои, которые он мне тогда наносил, весна ли с этими призрачными белыми ночами так на меня действовала — не знаю, откуда в меня вошло это желание. Так странно! Я никогда не была ни злою, ни слабою. Несколько дней я томилась этим подлым желанием. Я ночью садилась у окна, смотрела в тихий, неясный свет городской северной ночи, с тоскою я со злостью сжимала свои руки и думала настойчиво и зло: «Умри, проклятый, умри!» И случилось так, что он вдруг умер, вот в этот самый день, ровно в два часа ночи. Но я не убила его. О, не думайте, что я убила его!

— Помилуйте, я не думаю этого, — сказал Крагаев, но голос его звучал почти сердито.

— Он умер сам, — продолжала Омежина. — Или, может быть, силою моего злого желания я свела его в могилу? Может быть, так могущественна бывает иногда воля человека? Не знаю. Но я не чувствовала раскаяния. Совесть моя была совершенно спокойна. И так продолжалось до следующей весны. Весною, чем яснее становились ночи, тем хуже было мне. Тоска томила меня все сильнее и сильнее. Наконец, в ночь его

смерти он пришел ко мне и мучил меня долго.

— А, пришел! — с внезапным злорадством сказал Крагаев.

— Вы, конечно, понимаете, — говорила Омежина, — что это был не покойник, пришедший с кладбища. Для таких проделок он был все ж таки слишком благовоспитанный и городской человек. Он сумел устроиться иначе. Он овладел волею и душою того, кто, как вы теперь, пришел ко мне в эту ночь, кто мучил меня жестоко и долго. Когда он ушел и оставил меня изнемогшею от мук, я плакала, как избитая девчонка. Но душа моя была спокойна, и я опять не думала о нем до следующей весны. И вот каждый год, когда наступают белые ночи, тоска начинает томить меня, а в ночь его смерти приходит ко мне мучитель мой.

— Каждый год? — задыхающимся от злости или от волнения голосом спросил Крагаев.

— Каждый год, — говорила Омежина, — бывает кто-нибудь, кто приходит ко мне в этот час, и каждый раз словно душа моего мужа вселяется в моего случайного мучителя. Потом, после мучительной ночи, тоска моя проходит, и я возвращаюсь в мир живых. Так было каждый год. В этот год он захотел, чтобы это были вы. Он захо-

тел, чтобы я ждала вас здесь, в этом саду, в этой одежде, со связанными руками, босая. И вот я послушна его воле. Я сижу и жду.

Она смотрела на Крагаева, и на лице ее было то сложное выражение, которое он потом с таким искусством перенес на свою картину.

Крагаев как-то слишком поспешно встал. Лицо его стало очень бледным. Чувствуя в себе страшную злобу, он схватил Омежину за плечо и диким, хриплым голосом, сам не узнавая его звука, крикнул:

— Так было каждый год, и нынче с тобою будет не иначе. Иди!

Омежина встала и заплакала. Крагаев, сжимая ее плечо, повлек ее к дому. Она покорно шла за ним, дрожа от холода и от сырости песчинок под нагими стопами, торопясь и спотыкаясь, больно на каждом шагу ощущая подергивание золотой цепи и толчки золотых браслетов. И так вошли они в дом.

А. Н. Апухтин
Между жизнью и смертью
1892
Фантастический рассказ

C’est un samedi, a six heures
Du matin gue je suis mon.
(Скончался я в субботу,
в 6 часов утра.)

Эмиль Золя

I

Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо:

— Все кончено.

По этим словам я догадался, что я умер.

Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка продолжал еще дышать. В продолжение всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни.

Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила

каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь: она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал «для здоровья» березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.

Глаза мои были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня.

Вошел мой брат — сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились.

— Полно, Зоя, перестань, — ведь слезами ты не поможешь, — говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном, — побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там.

Он с трудом высвободил себя от ее объятий и усадил ее на диван.

— Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения… Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?

— Ах, Andre, ради бога, распоряжайтесь всем… Разве я могу о чем-нибудь думать?

Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена.

— Это объявление ты отправишь в «Новое Время», а затем пошлешь за гробовщиком; да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика?

— Ваше сиятельство, — отвечал, нагибаясь, Семен, — за гробовщиком посылать нечего, их тут четверо с утра толкутся у подъезда. Уж мы их гнали, гнали, — нейдут да и только. Прикажете их сюда позвать?

— Нет, я выйду на лестницу.

И брат громко прочел написанное им объявление:

— «Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20-го февраля, в 8 часов вечера, после тяжкой и продолжительной болез-

ни. Панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера». Больше ничего не надо, Зоя?

— Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово: «прискорбие»? Je ne puis pas souffrir ce mot. Mettez[13] (Я не переношу этого слова. Поставьте).

Брат поправил.

— Я посылаю в «Новое Время». Этого довольно.

— Да, конечно, довольно. Можно еще в «Journal de S. Petersbourg»[14].

— Хорошо, я напишу по-французски.

— Все равно, там переведут.

Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких треволнений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько

---

[13] Сноски: 13
с глубокой скорбью (*фр.*).

[14] Сноски: 14
«Санкт-Петербургские ведомости».

минут стояли возле нее, не желая нарушать ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.

— Будьте спокойны, ваше сиятельство, — говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные, — у нас все припасено: сено, и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться: такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.

Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей. Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать, но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья — любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала.

— Слушай, Настя, — сказал ей тихо Семен, — не нагибайся, как бы чего не случилось. Шла бы лучше к себе; помолилась — и довольно.

— Да как же мне за него не молиться? — отвечала Настасья слегка нараспев и нарочно громко,

чтоб все ее слышали. — Это не человек был, а ангел божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась.

Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробывать, могу ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос: родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал: «Да, пошли». После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней.

Ключница Юдишна перестала, наконец, голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением.

— Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте, — сказал он раздраженным шепотом, — здесь вам не место.

— Да что с вами, Савелий Петрович! — проши-

пела обиженная Юдишна. — Я ведь не красть собираюсь.

— Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены, — я к столу никого не допущу. Я недаром сорок лет князю-покойнику служил.

— Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу…

— Молиться можете, а до стола не прикасайтесь…

Люди эти, из уважения ко мне, ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. «Неужели я в летаргии?» — подумал я с ужасом. Года два тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, т. е. что именно он сделал, чтобы выйти из гроба.

В столовой начали бить стенные часы; я сосчитал одиннадцать. Васютка, девочка, жившая в доме «на побегушках», вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово.

Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовал ее прикосновения; мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги.

«Ну, значит, это не летаргия, — соображал я, пока меня облекали в чистое белье, — но что же это такое?»

Доктор сказал: «все кончено», обо мне плачут, сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое, я несомненно умер, а между тем я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше, но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с которой решился съехать. Все окна и двери открыты настежь, все вещи вывезены все домашние вышли, и только хозяин застоялся перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь и которые теперь давят его своей пустотой.

И тут в первый раз в окружавших меня потемках блеснул какой-то маленький, слабый огонек — не то ощущение, не то воспоминание. Мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его

уже переживал когда-то, но только давно, очень давно...

II

Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завешены черной тафтой. Покров из золотой парчи закрывал мои ноги, в высоких серебряных паникадилах ярко горели восковые свечи. Направо от меня, прислонясь к стене, недвижно стоял Савелий с желтыми, резко выдававшимися скулами, с голым черепом, с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз; он более, чем я, напоминал скелет мертвеца. Налево от меня стоял перед налоем высокий бледный человек в длиннополом сюртуке и монотонным, грудным голосом, гулко раздававшимся в пустой зале, читал:

«Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси».

«Отстави от мене раны Твоя, от крепости бо руки Твоея аз исчезох».

Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка, кружились веселые пары, и разные люди, молодые и старые, то радостно приветствовали, то злословили друг друга. Я всегда

ненавидел балы и, сверх того, с середины ноября чувствовал себя нехорошо, а потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основание надеяться, что нас посетят весьма высокопоставленные лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизнью и ясно сознал, что жить мне осталось недолго.

Вся моя жизнь была целым рядом балов, и в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь свой век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек родится с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер; все зло происходит оттого, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого существования. И я начал припоминать все мои дурные поступки, все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть. Оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вел.

Воспоминания мои были прерваны легким шумом справа. Савелий, который давно начинал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и, принеся оттуда стул, откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина.

Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной, как одно неизбежное целое, страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла, мне это было ясно как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я сознал два месяца тому назад.

Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие — одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт удивительно метко изобразил это явление, сказав, что «грядущие события бросают перед собой тень». Если же люди иногда жалуются, что предчувствие их обмануло, это происходит оттого, что они не умеют разобраться в своих ощуще-

ниях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего-нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды.

Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще не было, но я чувствовал, что меня «клонит к смерти», так же ясно, как чувствовал, бывало, что меня клонит ко сну. Обыкновенно с начала зимы мы с женой составляли план того, как мы будем проводить лето. На этот раз я ничего не мог придумать, картины лета не складывались: казалось, что вообще никакого лета не будет. Болезнь между тем не приходила: ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги. В конце декабря я должен был ехать на медвежью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье (вероятно, и ее посетило предчувствие), умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил все-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется.

На этот раз церемонная гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник — monstre[15], с тройками, цыганами и катаньем с гор. Простуда была неизбежна, но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упросила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских; мой брат, очень гордящийся своим происхождением, иногда говорил о нем: «ведь это наш граф Шамбор». Независимо от этого я очень любил дядю: не поехать на похороны было немыслимо. Я шел за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонная гостья не стала медлить и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но до 28-го февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась

[15] Сноски: 15
Невообразимый, потрясающий (*фр.*).

та утомительная агония, которая сбила с толку стольких ученых мужей. Я то поправлялся, то заболевал с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока, наконец, не умер сего дня по всем правилам науки, в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер, я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы. Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобретало для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актер, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли, какие пьесы?

Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг

я вспомнил про замок Ларош-Моден.

III

Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет тому назад мы, ради здоровья моей жены, провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок.

Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске; был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья дерев — все это под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретало какой-то праздничный вид. Свежий бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко, что я когда-то жил здесь… Это ощущение, какое-то странное, ощущение неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую

avenue, которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене.

— Какой вздор! — воскликнула жена. — Еще вчера ты говорил, что даже в детстве, когда ты с покойной матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали.

Я не возражал, мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий двор La cour d'honneur[16], посыпанный красным гербом графов Ларош-Моденов; вот зала в два света, вот большая гостиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный, специфический запах этой гостиной — какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева — поразил меня, как что-то слишком знакомое.

Я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня

---

[16] Сноски: 16
Для воздания почестей (*фр.*).

разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком невпопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания.

— Не удивляйтесь моей рассеянности, граф, — сказал я, поймав этот взгляд, — я переживаю очень странное ощущение. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые года.

— Тут нет ничего удивительного: все наши старые замки похожи один на другой.

— Да, но я именно жил в этом замке… Вы верите в переселение душ?

— Как вам сказать… Жена моя верит, а я не очень… А впрочем, все возможно.

— Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.

Граф ответил мне какой-то шутливо-любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием, с каким принимает теперь.

— Может быть, вы перестанете смеяться, — сказал я, делая неимоверные усилия памяти, — если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее.

— Вы совершенно правы, вот она, налево.

— А пройдя эту аллею, мы увидим озеро.

— Вы слишком любезны, называя эту массу воды (certe piece d'eau) озером. Мы просто увидим пруд.

— Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд.

— В таком случае, позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро.

Я не шел, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях картину, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд, у плота была привязана лодка, на противоположном берегу пруда виднелись группы старых плакучих ив… Боже мой! Да, конечно, я здесь жил когда-то, катался в такой же лодке, я сидел под теми плакучими ивами, я рвал эти красные цветы… Мы молча шли по берегу.

— Но позвольте, — сказал я, с недоумением смотря направо, — тут должен быть еще второй пруд, потом третий.

— Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет.

— Но он был, наверное. Посмотрите на эти

красные цветы! Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно.

— При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро пятьдесят лет, я родился в этом замке и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда.

— Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из старожилов?

— Управляющий мой, Жозеф, гораздо старше меня… мы спросим его, вернувшись домой.

В словах графа Модена, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким-то маньяком, которому не следует перечить.

Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его.

Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было.

— Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести…

— О да, принесите их, и поскорее. Надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом.

Жозеф принес планы, граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название: les etangs[17].

— Je baisse pavilion devant le vaingueur[18], — произнес граф с напускной веселостью и слегка бледнея.

Но я далеко не смотрел победителем. Я был как-то подавлен этим открытием, — словно случилось несчастье, которого я давно боялся.

Сходя в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и наклонная к мистицизму.

К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я — мы оба были так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный выговор за нелюбезность.

После этого жена моя часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих

---

[17] Сноски: 17
пруды (*фр.*).

[18] Сноски: 18
Я опускаю знамя перед победителем (*фр.*).

приглашениях, потому что понимал меня хорошо.

Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом моей жизни; я даже старался не думать о нем, как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларош-Моден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно, был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа, одно казалось мне несомненным; я был там очень несчастлив; иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нем.

Иногда эти воспоминания делались несколько определеннее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпение Савелия и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.

Савелий и псаломщик спали долго. Ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные шторы больших окон.

IV

Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидя спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приоделся, вероятно, выпил здоровую порцию «березовки» и вернулся окончательно ожесточенный.

«Кая польза в крови моей, всегда сходити ми во истление», — начал заунывным голосом псаломщик.

Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела детей. Соня на этот раз была спокойнее, а Коле очень понравился парчовый покров, и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелию, причем высказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов.

Все они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это были люди простые, из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием: лица же моего круга — даже самые близкие мне люди — относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если б я мог смотреть на нее прежними, земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелью, и он сделал ей строгое замечание.

— Да что же мне делать, Савелий Петрович? — оправдывалась Настасья. — Уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится.

— Ну а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом.

— За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович? — вступился Семен. — Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет.

— Знаю я этих шлюх законных, — проворчал Савелий и отошел в свой угол.

Настасья страшно смутилась и хотела ответить

какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов; только губы ее перекосились от гнева и в глазах оказались слезы.

«На аспида и василиска наступиши, — читал псаломщик, — и попереши льва и змия».

Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо:

— Вот вы этот аспид и есть.

— Кто это аспид? Ах ты…

Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка вбежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустела.

Марья Михайловна — тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытой черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя, в свою очередь, мою жену. Жена была в белом ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза.

— Voyons, Zoe, mon enfant, — уговаривала ее графиня, — soye ferme[19]. Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми на себя.

— Oui, ma tame, je serai ferme[20], — отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели.

Жена моя, несомненно, была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренно огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.

Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий, еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию:

---

[19] Сноски: 19
Ну же, Зоя, дитя мое. Будьте стойкой (*фр.*).

[20] Сноски: 20
Хорошо, тетя, я буду стойкой (*фр.*).

— Ну, что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя?

— Да-с, ваше превосходительство, сорок лет служил князю и мог ли я думать…

— Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит. — И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его.

— Ну вот, Иван Ефимьга, — сказал генерал, — еще у нас одним членом стало меньше.

— Да, с Нового года это уж четвертый.

— Как четвертый? Не может быть!

— Как же «не может быть»? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антоныч, потом князь Василий Иваныч…

— Ну, князя Василия Иваныча считать нечего, он два года не ездил в клуб.

— Однако он все-таки возобновлял билет.

— Ползиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрыч. Помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни…

— Что делать! «Не весте бо ни дне, ни часа…»

— Да, это все отлично! Но весте, не весте, — это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба

и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь! А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрыч поехал на похороны Василия Иваныча и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились.

Сенатора опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее.

— Да-с, удивительная судьба была этого князя Василия Иваныча. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает; казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника.

— Ну и язычок же у вас, Иван Ефимыч! Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица: de mortis, de monibus…

— Вы хотите сказать: «De mortuis aut bene, aut nihil»[21]? Но эта пословица нелепая, я ее несколько поправлю; я говорю: de mortuis aut bene, aut male[22]. Иначе ведь исчезла бы история, ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что

---

[21] Сноски: 21
О мертвых или хорошо, или ничего (*фр.*).

[22] Сноски: 22
О мертвых или хорошо, или плохо (*фр.*).

все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое, недаром у него было столько скверных историй…

— Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш… По крайней мере о нашем дорогом Дмитрии Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек…

— К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея…

— Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?

— Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпится в обществе, это доказывает только вашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему такому человеку не следует и руки подавать.

Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников…

В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.

Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый, и очень замотавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек; он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине зрачков, — маленькую радость при мысли, то у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но, с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить! Долг этот он отдаст со временем, а теперь… известно ли кому-нибудь об этом долге,

записан ли он в мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же.

Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал расспрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным.

— Видите ли, князь, — начал, запинаясь, Звягин, — я был должен покойному…

Брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него.

— Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долголетняя служба…

Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошел на прежнее место. Его красные щеки прыгали, глаза беспокойно бегали по зале. Тут в первый раз после смерти я пожалел о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему: «Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без этого денег довольно».

Зала быстро наполнялась. Дамы входили большей частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали, у брата, могут ли они видеть жену; брат

с молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания решительно бросаются головой вниз в холодную воду.

К двум часам собрался весь знатный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать их на лестницу.

Я всегда с особенным умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня «жизнь бесконечная»; выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой «бесконечной жизнью», а именно находился в том месте, «иде же несть болезни, печали и воздыхания».

Напротив того, земные, доходившие до меня воздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыдании, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой

моей сделалось дурно, ее опять увели.

Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: «Во блаженном успении…», но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.

V

Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке: никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только думал — настойчиво, усиленно думал.

Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет, есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убежден в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была бы вопиющей нелепостью. Человек мыслит, чувствует, сознает все окружающее, наслаждается и страдает — и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел, — это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что сознавало и себя и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, отчего сознанию суждено исчезать бесследно? Если же оно исчезает, откуда оно появляется и какая цель такого эфемерного

появления? Я считал это нелепостью и потому допустить не мог.

Теперь я на собственном опыте видел, что сознание не умирает, что я никогда не переставал и, вероятно, никогда не перестану жить. Но в то же время назойливо восставали передо мной новые «проклятые вопросы». Если я никогда не умирал и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существований? По какому закону они происходят и к чему в конце концов приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все или хоть некоторые минувшие существования, но отчего же именно этого воспоминания лишен человек? За что он осужден быть вечным невеждой, что даже понятие о бессмертии является ему только в виде догадки? А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы, как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларош-Моден?

И я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольет свет на все

остальное. Никакое внешнее впечатление меня не развлекало, я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которых я не мог наполнить: лица людей были окутаны туманом, в словах не было связи, все состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Моденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: Ci-git tres haute et recommandable dame…[23] Дальше идет имя, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на которой я читаю: Ci-git le coeur du marguis…[24] Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: Zo… Zo… Я напрягаю память и, к великой радости, явственно слышу имя: Zorobabel! Zorobabel! Это имя, столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я — на дворе замка, в большой толпе народа. «A la chambre du rei!

---

[23] Сноски: 23
Здесь покоится высокородная дама… (*фр.*)

[24] Сноски: 24
Здесь покоится сердце маркиза… (*фр.*)

A la chambre du rei!..»[25] — повелительно кричит тот же резкий, нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, т. е. комната, которую занимал бы король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей вижу эту комнату в замке Ларош-Моден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя, в отчаянной позе остановившегося над ручьем, и трех настигающих его охотников. В глубине комнаты альков, увенчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне большой портрет короля во весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые ноги в лосинах и ботфортах, но лица никак разглядеть не мог. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. «Zorobabel! Zorobabel!» — кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг

---

[25] Сноски: 25

«В комнате короля! В комнате короля!» (*фр.*)

в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина развертывается предо мною!

VI

Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть, и вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями с одноцветного неба, ветер гудел и свистал по широкой улице, и поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил ее в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешел на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги: налево, в гору, продолжалось село, направо, словно нагнувшись над оврагом, стояла старая деревянная церковь с зеленым куполом. Я пошел направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами, между могилами качались по ветру мокрые, почти обнаженные ветви молодых берез; вся земля, словно ковром, была покрыта желто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсем голое поле. И, несмотря на эту безотрадную картину, чем-то родным и хорошим повеяло на меня из далекой, протекшей там жизни. Но от-

чего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настежь? В какое время был я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? Иноземный ли разорил это гнездо, или свои внутренние воры выгнали жителей в леса и степи?

Я вернулся к мостику и пошел налево в гору. И там то же безлюдье, те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел наконец живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно, умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завыла.

Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. Ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи… Но как ни напрягал я свою память, не мог вспомнить ничего подобного. Словно круглый год серое небо поливало несчастное

село мелким дождем, да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы.

VII

Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предо мной проходили далекие, давно забытые и, как мне казалось, никогда не виданные страны, дикие леса, какие-то гигантские бои, в которых к людям примешивались и звери. Но это были туманные очертания, из которых еще не складывалось никакого определенного образа. Среди этих картин промелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома; во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет десяти, худая, бледная и некрасивая, только глаза у нее были чудесные: черные, глубокие, с серьезным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном, нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я

ее знал когда-то… Но кто была она? Была ли она мне дочь, или сестра, или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг мучил этого ребенка? А может быть, я сам мучил ее когда-то, и она являлась мне во сне, как наказание и упрек.

Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но, вероятно, их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?

Ввиду этого незнания мое теперешнее положение, т. е. состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство: меня потянуло опять в ту юдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглу-

шить в себе это ощущение, но оно росло, крепло, побеждало все доводы — и наконец перешло в страстную, неудержимую жажду жизни.

VIII

О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования, мне все равно, чем родиться: князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят: «Не в деньгах счастье» — и, однако, считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за деньги. Между тем счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека. Где начинается и где кончается это довольство? Все сравнительно, все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно двести тысяч. Я и прежде так думал, но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся мной за аксиомы. Теперь эти миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее. Я, например, страстно любил искусство и думал, что чувство красоты доступно только людям культурным, богатым, а без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? По-

нятия об искусстве так же условны, как понятия о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрят на добро и зло различно; что считается доблестью в одной стране, то в другой признается преступлением. К вопросу об искусстве, кроме этих различий времени и места, примешивается еще бесконечное разнообразие индивидуальных вкусов. Во Франции, считающей себя самой культурной страной мира, до нынешнего столетия не понимали и не признавали Шекспира: таких примеров можно вспомнить много. И мне кажется, что нет такого бедняка, такого дикаря, в которых не вспыхивало бы подчас чувство красоты, только их художественное понимание иное. Весьма вероятно, что деревенские мужики, усевшиеся в теплый весенний вечер на траве вокруг доморощенного балалаечника или гитариста, наслаждаются не менее профессоров консерватории, слушающих в душной зале фуги Баха.

О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица, слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми… со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомнить те ужасные условия бессилия и неведения,

среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорей можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает. Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих. Он не понимает цели всех этих последовательных существований и совершает непонятный для него обряд жизни среди мрака и разнородных страданий. А как ему хочется вырваться из этого мрака, как он силится понять, как хлопочет устроить и улучшить свой быт, как напрягает он свой бедный ограниченный разум. И все его усилия пропадают даром, все изобретения — часто гениальные — не разрешают ни одного из волнующих его вопросов. Во всех своих стремлениях он встречает предел, дальше которого идти не может. Он, например, знает, что, кроме Земли, существуют другие миры, другие планеты; с помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к Земле и когда от нее удаляются; но что происходит на этих планетах и есть ли там подобные ему существа, — об этом он может догадываться, но наверное не узнает

никогда. А он все-таки надеется и ищет. В Америке, на одной из самых высоких гор, собираются зажечь электрический костер, чтобы подать сигнал обитателям Марса. Разве, не трогателен этот костер по своей детской наивности?

О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам! Я хочу жить общей с ними жизнью, хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дрязги, которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть, — но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!

О, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой, и синее небо покрывается яркими звездами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки, и целые скалы волн разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челнок навстречу этой буре, хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи, хочу идти с кинжалами на разъяренного медведя, хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного сена и запах дегтя,

хочу слышать пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой, хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни.

О, только бы жить! Только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести одно человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть!..

IX

И вдруг я вскрикнул, всей грудью, изо всей силы вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос: это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза; яркий свет морозного ясного, утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.

— Слушай, Васютка, — раздался голос Софьи Францевны, — продерись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку.

— Да как же я туда продерусь, тетенька? — отвечала Васютка. — Сейчас князя выносить будут, гостей собралось там видимо-невидимо.

— Ну, как-нибудь продерись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец.

Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце.

— Ну, что? — спросил, он, вбегая.

— Все благополучно, поздравляю, — произнесла торжественно Софья Францевна.

— Ну, слава тебе, господи, — сказал Семен и, даже не посмотрев на меня, побежал обратно.

— Мальчик или девочка? — спросил он уже из коридора.

— Мальчик, мальчик!

— Ну, слава тебе, господи, — повторил Семен и скрылся.

В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью.

— Нашла тоже время, нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. О, чтоб тебя!..

Юдишна с ожесточением плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не ответила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой.

А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути, и во время этого сна забыл все, что происходило со мной до этой минуты.

Чрез несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание.

Я вступал в новую жизнь…

А. Грин
Новый цирк
1913

I. Должность

Я выпросил три копейки, но, поскользнувшись, потерял их перед дверями пекарни, где намеревался купить горячего хлеба. Это меня взбесило. Как ни искал я проклятую монету — она и не думала показываться мне на глаза. Я промочил, ползая под дождем, колени, наконец встал, оглядываясь, но улица была почти пуста, и надежда на новую подачку таяла русским воском, что употребляется для гаданий.

Два месяца бродил я по этому грязному Петербургу, без места и крова, питаясь буквально милостыней. Сегодня мне с утра не везло. Добрый русский боярин, осчастлививший меня медной монетой, давно скрылся, спеша, конечно, в теплую «изба», где красивая «молодка» ждала его уже, без сомнения, с жирными «щи». Других бояр не было видно вокруг, и я горевал, пока не увидел человека столь странно одетого, что, не будь голоден, я убежал бы в первые попавшиеся ворота.

Представьте себе цилиндр, вышиною втрое более обыкновенных цилиндров; очки, которые с успехом могла бы надеть сова; короткую шубу-бочку, длинненькие и тонкие ножки, обутые

в галоши № 15, длинные космы волос, свиное рыло и вместо трости посох, в добрую сажень вышиной. Чучело картинно шагало по тротуару, не замечая меня. Весь трепеща, приблизился я к герою кунсткамеры, откуда он, вероятно, и сбежал. Самым молитвенным шепотом, способным растрогать очковую змею, я произнес:

— Ваше сиятельство. Разбитый отчаянием, я умираю с голода.

Привидение остановилось. В очках блеснул свет — прохожий направил на меня свои фосфорические зрачки. Невообразимо противным голосом этот человек произнес:

— Человека труд кормит, а не бездудие. Работай, а затем — ешь.

— Это палка о двух концах, — возразил я. — Немыслимо работать под кишечную музыку, так сказать.

— А, — сказал он, сморкаясь в шарф, которым была окутана его шея. — Сколько же тебе нужно фунтов в день пищи?

— Фунта четыре, я полагаю.

— Разной?

— Хорошо бы… да.

Урод полез в карман, извлек сигару и закурил, бросив мне спичку в лицо. Это было уже мно-

гообещающей фамильярностью, и я вздрогнул от радости.

— Как зовут?

— Альдо Путано.

— Профессия?

— Но, — торопливо возразил я, — что такое профессия? Я умею все делать. В прошлом году я служил у драгомана в лакеях, а в этом рассчитываю быть чем угодно, вплоть до министра. Беструдие же я порицаю.

— Хорошо, — проскрипел он. — Я нанимаю тебя служить в цирке. Обязанности твои не превышают твоих умственных способностей. Потом узнаешь, в чем дело. Жалованье: кусок мыла, вакса, пачка спичек, фунт табаку, четверка калмыцкого чая, два фунта сахарного песку и сорок четвертаков в месяц, что составит десять рублей.

— Быть может, — робко возразил я, — вы назначите мне шестьдесят четвертаков, что составит совершенно точно — пятнадцать рублей.

— Будь проклят, — сказал он. — Идешь? Я зябну.

— Я следую за вами, ваше сиятельство.

II. Представление

Самое пылкое воображение не могло бы представить того, что удалось увидеть мне в этот вечер. Шагая за чудесным патроном, я через несколько минут приблизился к круглому деревянному зданию, освещенному изнутри; у подъезда извозчики и автомобили. На фронтоне сияла огромная, малеванная красной краской полотняная вывеска:

ЦИРК ПРЕСЫЩЕННЫХ

Небывало! Невероятно!
Раздача пощечин!
Истерика и др. аттракционы

Мы прошли в деревянную пристройку. При свете жестяной лампы сидело здесь несколько человек. Некоторые из них были одеты в шкуры зверей и потрясали палицами; другие, в отличных фраках и атласных жилетах, звенели тяжелыми кандалами на руках и ногах, третьи щеголяли дамскими туалетами и путались в тренах. Волосатые декольте их были ужасны.

— Он будет служить, — вскричал патрон, ука-

зывая на меня.

Рев, звон кандалов и жеманный писк приветствовали эти слова.

— Альдо, — сказал патрон, — ты выйдешь на арену со мной. Когда я дерну тебя за волосы, кричи: «Горе мне, горе».

— Да, маэстро.

— Громко кричи.

— Да, маэстро.

Он дал мне пинка, и я, услышав вслед: «Смотри представление», — выбежал через конюшню к барьеру. Блеск люстр ослепил меня. Цирк был полон, нарядная толпа зрителей ожидала звонка. Осмотревшись, я увидел, что лица публики бледны и воспаленны, синеватые тени окаймляют большинство тусклых глаз; иные же, румяные, как яблоко, лица были противны. На эстраде играл оркестр. Инструменты оркестра заинтересовали меня: тут были судки, подносы, самоварные трубы, живая ворона, которую дергали за ногу (чтобы кричала), роль барабана исполнял толстяк, бивший себя бутылкой по животу. Капельмейстер махал палкой, похожей на ту, которой протыкают сига. Гром музыки нестерпимо терзал уши. Наконец оркестр смолк, и на арену выбежал мой патрон с ужасной своей

кандально-декольтированной свитой; эти люди тащили за собой собаку, клячу-одра и сидевшего на одре верхом деревенского парня в лаптях.

— Вот, — сказал патрон, указывая на перепуганную собаку, — недрессированная собака.

Раздались аплодисменты.

— Собака эта, — продолжал патрон, — замечательна тем, что она не дрессирована. Это простая собака. Если ее отпустить, она сейчас же убежит вон.

— Бесподобно! — сказал пшют из ближайшей ложи.

— В обыкновенных цирках, — патрон сел на песок, — все дрессированное. Мы гнушаемся этим. Вот, например, — крестьянин Фалалей Пробкин, неклоун. «Не-клоун». Это его профессия. Вот — недрессированные — корова и лошадь.

Кое-где блеснули монокли и лорнеты. Публика внимательно рассматривала странных животных и неклоуна. Я чувствовал себя нехорошо. В это время, косо поглядев в мою сторону, патрон схватил меня за волосы и вытащил на середину арены.

— Теперь, — сказал он, — чтобы вы не скучали, я буду щекотать нервы. Слушайте, вы, негодяи! — Тут его пальцы крепко впились мне в затылок,

и я пронзительно заорал:

— Горе мне, горе!

— Да, — продолжал он, — пройдохи, плуты, лгуны, мошенники и подлецы. Облить бы вас всех керосином! Я, Пигуа де Шапоно, даю ряд великих советов. Советы — это второе отделение. Проповедь любви, жизни и смерти! Красивая и интересная жизнь может быть приобретена с помощью следующих предметов: электромотора, мясного порошка и вставных челюстей.

— Горе мне, горе!

— Что касается любви, то лучший рецепт следующий: встав рано, следует обтереться холодной водой, выпить стакан сливок с мадерой, съесть сотню петушьих гребешков, дюжину устриц, пикули, кайенский перец, запить все это стаканом гоголь-моголя, чашкой шоколада, абсентом и затем купить хорошую лодку. В эту лодку можно заманить женщину… трум-тум-тум.

— Горе мне! — возопил я, хватаясь за волосы, потому что пальцы Пигуа де Шапоно почти вырывали их.

— Относительно смерти, — ораторствовал Пигуа, — посоветую вам, для приобретения бессмертия, ворваться в какой-либо музей, отбить головы у Венер, облить пивом пару знаменитых

картин, да еще пару изрезать в лохмотья, и — бессмертие состряпано.

Но дома (если вы попадете домой) нужно написать мемуары, где вы признаетесь, что вы повесили кошку и проглотили живого скворца.

— Горе мне! Больно!.. — застонал я.

Публика неистовствовала. Гром одобрения заглушил мой жалобный вопль. Опасаясь, что Пигуа подаст больше советов, чем у меня на голове волос, я вырвался, сшиб с патрона цилиндр и уже осматривался, в какую сторону удирать, как вдруг раздались крики: «Пожар! Спасайтесь! Горим!» — и началось невообразимое.

III. Конец нового цирка

Все смешалось. Люди прыгали друг через друга, дрались, падали; женщины, падая сотнями в обморок, загораживали проходы и висли обременительным грузом на руках проклинающих их в эту минуту отцов, мужей и любовников. Арена опустела. Все бросились к боковым проходам, и меня раза три сбили с ног, прежде чем я успел, шагая по головам и плечам, выскочить на наружную лестницу. Огня еще не было видно, но скоро он показался и осветил площадь мрачными отблесками. Проклиная Пигуа де Шапоно, от рук которого до сих пор щемило затылок, я отбежал в сторону от горящего здания и сел на тумбочку, рассматривая пожар.

Пулей вылетали из проходных дверей спасшиеся от огня зрители; остальные же, без сомнения, не успев обессмертить себя, скромно оканчивали жизнь внутри цирка. Мне это понравилось. В нашей бедной жизни так мало развлечений, что на пожар, обыкновенно, сбегаются целые кварталы, и, боже сохрани, чтобы я видел в толпе зрителей сочувствующее погорельцам лицо. Тупо, страшно, дико смотрит на пожар бессмыс-

ленная толпа, и я, как ее сын, мог ли смотреть иначе? Сначала я был действующим лицом, а теперь стал зрителем.

Цирк сгорел быстро, как соломенный. Сгорел. Мертвые срама не имут.